Г.Р. ДЕРЖАВИН.

Его жизнь, литературная деятельность и служба

Гавриил Державин.

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- С. М. Брилиант
  -
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10

С. М. Брилиант
Г. Р. Державин. Его жизнь, литературная деятельность и служба
Биографический очерк
с портретом Державина, гравированным в Лейпциге Геданом

Глава I
Детство. – Гимназия. – Служба

Гавриил Романович Державин, «певец Фелицы», родился, по преданию, в местечке Кармачи или Сокуры, Лаишевского уезда Казанской губернии, верстах в 40 от губернского города. Появление на свет ребенка – всегда событие. На этот раз оно имело немаловажное значение и для потомства. Державин родился в воскресенье 3 июля 1743 года, и был назван по празднуемому 13 числа этого месяца собору архангела Гавриила.

Место его рождения обозначили мы выше «по преданию». В 1862 году один из владельцев Кармачей показывал биографу поэта место под горой, где некогда стоял дом Державиных, а в то время находился грунтовой сарай. Ту же честь приписывает себе, однако, местечко Сокуры, где поэт в самом деле провел часть детства.

Сам Державин считал себя прямо уроженцем Казани, отождествляя родину с городом, где он вырос, воспитывался, приобрел первые знания и зачатки стремлений к литературной и гражданской деятельности.

Родители поэта – небогатые мелкопоместные дворяне – не мечтали ни о славе, ни о роскоши для сына. Роман, отец поэта, служил в разных гарнизонных полках, и первое детство Гавриила Романовича прошло в разъездах. Оно напоминает во многом детство Крылова. И его первой учительницей была мать. Так же рано умер отец и так же много мытарств выпало на долю матери с сыном. Наделенный той же выносливостью вышел в путь человек с врожденным умом и талантом. Дорога вела не к вершине славы самородного гения, но Державин нашел свою судьбу и оставил нам историческое наследство.

Происхождение Державина от мурзы Багрима льстило впоследствии его воображению и доставляло любимую поэтическую прикрасу. Оно подтверждается семейными документами, в которых содержатся сведения, что этот мурза в княжение Василия Васильевича Темного, в XV столетии, выехал из Большой Орды служить на Руси, был крещен самим великим князем в православную веру и при этом получил имя Ильи. Ему пожалованы были вотчины в нынешних Владимирской, Новгородской и Нижегородской губерниях. От сыновей его произошли Нарбековы, Акинфовы, Кеглевы. У Дмитрия Ильича Нарбекова был, в числе других детей, сын Держава, начавший службу в Казани. Так возник род Державиных, которые «служили

по городу Казани дворянскую службу», почему и называются в актах «Казанцами».

Здесь не место входить в подробности истории рода: они изложены документально в 8-м томе академического издания сочинений Державина. Родители поэта, Роман и Фекла Державины, жили то в казанской деревне, то в губернском городе. Они вели тихую, но не всегда спокойную жизнь, потому что должны были часто тягаться с соседями. Обстановка этих волнений не только ярко рисует быт и нравы эпохи, но дает ценный материал для характеристики самого поэта, каким мы его увидим вскоре, с наследственными чертами запальчивости, заносчивости, чрезмерных притязаний и т. п. Главная тяжба родителей окончилась только в 80-х годах прошлого (XVIII. – Ред.) столетия, когда никого из них уже не было в живых, а сам поэт, автор «Фелицы», осыпанный милостями Екатерины, имел влияние в Сенате и высших сферах.

Тяжба эта была результатом давней вражды отца поэта, секунд-майора Державина, с соседом по имению – отставным полковником Я.Ф. Чемадуровым. В 1742 году Державин был в гостях у соседа, а вслед за тем подал в губернскую канцелярию челобитную, в которой жаловался, что Чемадуров, задумав лишить его жизни, поил каким-то «особливым крепким медом», отчего Роман Державин, по собственному сознанию, «стал быть не без шумства». Тогда Чемадуров приказал своей прислуге и людям бывшего тут же шурина своего, *недоросля* Белавина, бить Державина до смерти, и они, стащив его с лошади, жестоко избили, вынули у него из кармана кошелек с деньгами, золотую медаль, печать, золотой перстень, у снятой с него шпаги изогнули клинок и «столкали его с двора»; от таких побоев он был сколько-то времени болен.

Из производства дела, возникшего по этой жалобе, видно, что в числе свидетелей, на которых ссылался Роман Державин, были также отец его и мачеха, а в нанесении побоев участвовал калмык Иван, которого истец, на основании тогдашних законов, просил подвергнуть пытке. Со своей стороны Чемадуров в оправдание свое говорил, что он, приглашая Державина в гости, никакого злого умысла не имел, поил его тем же медом, который и сам пил; Державин же, кроме того, пил водку и пиво и, сделавшись пьян, всячески бранил Белавина. Чемадуров стал говорить ему, чтобы он унялся или отправился домой, но Державин, выйдя на крыльцо, ругал хозяина «непотребными словами» и бил его двоюродного брата Останкина; затем сел на лошадь, *обнажил шпагу и гонялся с нею по двору за людьми*; тогда Чемадуров велел отнять у него шпагу и свести его со двора.

Наш поэт, зная кровь свою, опасался всегда крепких напитков; тем не менее мы скоро увидим, как сказывались в нем эта отцовская кровь и черты наследственного быта.

Поэт наш родился таким малым, слабым и тощим, что сочли нужным, по местному обычаю, запекать его в хлебе. На пятом году он научился от матери читать. Затем первыми учителями его были «церковники», как он выражается, вроде, конечно, Кутейкина, а также Вральманы и Цыфиркины.

Рано началась для маленького Гаврюши кочующая жизнь благодаря командировкам отца в разные города на Волге. Быть может, этот род жизни как раз содействовал укреплению здоровья будущего маститого поэта и царедворца. Когда Державину минуло семь лет, он находился с отцом в Ставрополе и в годовщину своего рождения, 3 июля 1750 года, вместе с братом был представлен в местную провинциальную канцелярию, а в августе они «смотрены» в оренбургской губернской канцелярии. В выданном оттуда отцу паспорте сказано, что «Гаврила по седьмому, а Андрей по шестому году уже начали обучаться своим коштом[1] словесной грамоте и писать, да и впредь же их, *ежели время и случай допустит*, желает оный отец их своим же коштом обучать арифметике и прочим указным наукам до указных лет». Дети отданы были опять отцу с обязательством, согласно указам, как им 12 лет будет, «объявить» их на второй смотр.

Случай в самом деле допустил Державина продолжать ученье в Оренбурге, в школе знаменитого в своем роде немца Розе. Приговоренный к каторжной работе, последний вместо Сибири попал в Оренбург благодаря памятному в летописях края первому губернатору Неплюеву. Он перевел самый город на удобнейшее место и, не брезгуя ссылаемыми в Сибирь, искал среди них работников для построек, мастеров и купцов. Розе сумел извлечь выгоду из своего положения в этом городе. Местное дворянство охотно стало отдавать детей в заведенную им школу. По свидетельству Державина, он был развратен и жесток, а вместе с тем круглый невежда.

Пробыв у Розе года два или три, Державин, однако, умел уже читать, писать и говорить по-немецки. Такой результат нельзя считать маловажным. Розе сообщил ему также твердый, красивый почерк, и мальчик благодаря этому упражнению пристрастился к рисованию пером. В промежутках между уроками он срисовывал с лубочных картинок богатырей, раскрашивая их чернилами и охрой. Таким-то образом, говорит биограф Державина, уже в детстве его начала проявляться та неутомимая деятельность, которая навсегда осталась отличительной чертой поэта.

В 1754 году отец умер. Сыну в это время шел двенадцатый

год. «Гарнизонный школьник» Лебедев, а потом штык-юнкер Полетаев готовили его ко второму смотру по арифметике и геометрии. Оба они мало знали, довольствовались первыми действиями, а в геометрии – черчением фигур. Державин на всю жизнь остался плохим математиком.

Пятнадцатилетним юношей Державин поступил в казанскую гимназию. 21 января 1759 года – день поступления его в гимназию – было вместе с тем и днем ее открытия. До того в Казани, как и по всей Руси, существовали только гарнизонные школы. Казанская гимназия явилась чем-то вроде колонии Московского университета с его гимназией. Основанием своим она была обязана представлению просвещенного вельможи И.И. Шувалова.

Московский университет сперва послал в Казань одного из учителей своей гимназии в качестве разведчика и устроителя, а затем директором гимназии назначен был один из трех асессоров, состоявших при университете. Это был известный своей литературной деятельностью М.И. Веревкин.

Братья Державины были в числе первых 14 дворянских детей, вступивших в гимназию. Число учеников, однако, быстро возросло до девяносто пяти.

Веревкин, несмотря на некоторые недостатки, вполне оправдал свое назначение: он неутомимо заботился об успехах молодежи. Одна борьба за приобретение учебников доставила немало хлопот. Более 30 учеников должны были довольствоваться шестью экземплярами немецкой азбуки. Понимая уже значение, какое могла иметь Казань для изучения восточных языков, Веревкин предлагал открыть при гимназии класс татарского языка: «Со временем, – писал он, – могут на нем отыскиваемы быть многие манускрипты; правдоподобно, что оные подадут может быть и не малый свет в русской истории».

Впрочем, что касается преподавания в гимназии, то, по свидетельству самого Державина, главной целью было *научить читать, писать и говорить сколько-нибудь по грамматике*. Предметов преподавания значилось столько же, сколько и теперь, но в результате, по недостатку учителей, уходили немногим дальше пансиона Розе. Продолжая начатое, Державин и здесь больше всего успел в немецком языке, что положило, конечно, начало его развитию и знакомству с немецкой литературой.

Особенную охоту продолжал выказывать Державин (мы говорим о его рисунках у Розе) к «предметам, касающимся воображения»: к рисованию, музыке и поэзии. Более практическое применение эти способности получили в черчении. Его чертежи и рисунки пером не только понравились Веревкину, но дали

последнему право похвастать перед Шуваловым во время поездки в Москву. Этот вельможа, заботившийся много о развитии искусства в России и незадолго перед тем основавший Академию художеств, был приятно поражен неожиданными плодами учения в отдаленной полутатарской стране.

Те, чьи работы были представлены Шувалову, удостоились записи в гвардейские полки по их желанию, а *один из них*– Державин – был объявлен кондуктором инженерного корпуса.

Веревкин награжден был тем, что со званием директора гимназии соединил назначение товарищем казанского губернатора. Известие о наградах по возвращении Веревкина в Казань произвело большую радость в гимназии. Ученики надели мундиры; с тех пор Державин в кондукторской форме исполнял на училищных празднествах обязанность артиллериста и фейерверкера.

По мере своего развития Державин все более выделялся среди товарищей. Веревкин скоро оценил не только его талант к рисованию, но также бойкость, подвижность, энергию и настойчивый характер. Предпринимая поездки по своей должности, он стал брать Державина для канцелярских надобностей во главе нескольких других молодых, способных людей. Целью одной, например, такой поездки было снятие плана с города Чебоксары. Веревкин сам не стеснялся ничем при выполнении своих намерений, действовал круто, задерживая суда на Волге и сгоняя бурлаков для тасканья чудовищных рам шириною в восемь сажень, с железными связями и цепями. Рабочие несли эти рамы поперек улицы; когда какой-нибудь дом выступал вперед и не давал пройти раме свободно, над воротами писалось: ломать. Так производилось на Руси равнение городов, заводился немецкий порядок. Между тем Державин чертил огромной величины план на чердаке большого купеческого дома, так как ни в одной обыкновенной комнате чертеж не мог уместиться. План остался недоделанным: его пришлось свернуть, уложив под грузом на телегу, и отвезти в Казань.

По поручению Шувалова Веревкин должен был исследовать развалины древней столицы Болгарского царства.

Пробыв в Болгарах несколько дней, Веревкин соскучился и уехал, оставив там Державина. Последний с товарищами работал до глубокой осени и привез в Казань описание развалин, план бывшего города, рисунки остатков некоторых строений, надписи с гробниц, наконец, собрание монет и других вещей, вырытых из земли.

Державин не успел кончить и скудного гимназического курса, как в начале 1762 года пришло из Петербурга требование явиться

немедленно в Преображенский полк. Каким образом это случилось и куда девалось его назначение кондуктором, неизвестно. Вероятно, причиной тому были военные обстоятельства, неурядица и потребность в солдатах. В это время, со смертью Елизаветы, новый император Петр III замышлял поход в Данию одновременно с Семилетней войной и приказал потребовать в полки всех отпускных. Вследствие этого наступила очередь и для Державина.

Мы встретим его теперь в Петербурге, рядовым, в казармах полка.

Из Казани Державин приехал в Петербург в марте 1762 года и был зачислен рядовым в третью роту Преображенского полка. У него, как сам он говорил, «протекторов» не было, и вот главная причина, почему он только через десять лет получил первый офицерский чин. Одновременно с ним также рядовым поступил в полк Новиков. Между тем Фонвизин при поступлении в Московский университет был записан уже сержантом и не служил в полку.

Первое время службы было особенно трудно. Державин не имел ни родных в Петербурге, ни средств, достаточных для жизни, и его поместили в казармах вместе со сдаточными, то есть рекрутами из крестьян. По рассказу И.И. Дмитриева, Державин пошел на хлебы к семейному солдату. Стали его учить ружейным приемам очень усердно, так как Петр III был большой охотник до военных учений. Новичок, впрочем, показал хорошие успехи и скоро мог участвовать в параде перед императором.

Так началась солдатская жизнь Державина. Вместе с другими поэт наш должен был ходить на учения и стоять на карауле, отправлять разные черные работы, чистить каналы, разгребать снег и так далее. Понятно, что двенадцать лет такой жизни и службы составляют безотрадный период в биографии автора «Фелицы». К счастью, три месяца спустя после приезда Державина произошло событие, которое изменило весь характер эпохи и отразилось на всем окружающем. Мы говорим о воцарении Екатерины II.

Преображенский полк участвовал в событиях 28-го июня. По словам поэта, третья рота вместе с прочими прибежала к Зимнему дворцу, вокруг которого уже прежде расположились полки Семеновский и Измайловский. Преображенцы поставлены были внутри дворца и приведены архиепископом к присяге императрице, которая также успела приехать во дворец в сопровождении измайловцев. (В этом полку служил Новиков.) Державин был очень поражен тем, что видел, но не знал тогда, кому сочувствовать. Юноша, прибывший из Казани со школьной

скамьи, мало интересовался политикой и мало понимал, конечно, в обстоятельствах времени. Он был занят собственным устройством, новизной казарменной жизни, заботами о будущем. К тому же накануне переворота у него из-под подушки украли деньги, и этот «неприятный случай сделал его совсем невнимательным к *вещам посторонним*», говорит он в своих записках.

Со времени коронации Державин попадал несколько раз то в Москву, то в Петербург.

В Москве первое время продолжал он жить в казармах, где было не до ученья. Будущий поэт стремился к другому. Услышав, что Шувалов, находясь в Москве, намерен ехать за границу, он задумал попытаться воспользоваться этим случаем попасть в чужие края.

Написав письмо, в котором просил своего некогда начальника и покровителя взять его с собой, он отправился к вельможе и подал ему просьбу в прихожей, где дожидались многие. Шувалов собирался ехать во дворец. Он остановился, прочел просьбу и велел прийти за ответом. Однако Державин сам больше не явился. Дело расстроила тетка его, которая видела в путешествии источник всякой ереси и самого Шувалова считала *фармазоном*. Так называли «отступников от веры, еретиков, богохульников, преданных антихристу».

Простое звание солдата, жизнь в казармах и скудные средства долго не позволяли Державину ни учиться, ни свести приличное знакомство. Между тем избыток сил расходовался на буйные забавы, игру и приключения.

В Москве как простой солдат Державин между прочим разносил офицерам своего полка вечерние приказы. Они стояли в разных частях Москвы, и ему приходилось бродить ночью. Прогулки по пустынным, занесенным снегом улицам не всегда даже были безопасны. Однажды на Пресне он «потонул было в снегу». В другой раз напали на него собаки, и он спасся только благодаря тесаку.

Взамен случая и протекции Державин обладал настойчивостью характера и смелостью в искании путей для выдвижения. Он подал просьбу своему начальнику, знаменитому впоследствии графу Алексею Григорьевичу Орлову, жалуясь на несправедливость, и получил чин капрала. А несправедливость по службе была отчасти следствием его страсти к литературным опытам. Он осмеял в каких-то стансах полкового секретаря, стихи пошли по рукам, попались обиженному, и последний стал вычеркивать Державина из списков на производство в чины.

Пить много, говорит Державин, он никогда не любил. Однако

проводил ночи в кабаке и в компании товарищей пристрастился к игре в карты и разным бесчинствам.

Однажды во время отпуска из Петербурга, находясь в Москве и оставаясь там сверх разрешенного срока, он проиграл деньги, полученные от матери на покупку имения; с отчаяния он занял деньги у Блудова, купил деревню на свое имя и заложил ее вместе с материнским имением, не имея на то права. «Когда же не было окончательно на что играть и жить, то, запершись дома, ел хлеб с водой и марал стихи при слабом иногда свете полушечной сальной свечи или при сиянии солнечном сквозь щелки затворенных ставней». Между тем просрочка отпуска могла его погубить. К счастью, новый полковой секретарь Неклюдов спас поэта, причислив его к московской команде.

Оставаясь в Москве, он продолжал вести тот же беспорядочный образ жизни и испытал, конечно, немало неприятностей. Будущего статс-секретаря мудрой Фелицы окружили однажды на улице будочники при звуках трещоток и, взяв под уздцы лошадей, повезли через всю Москву в полицию за сумасшедшую езду по городу на карете четверней. Сутки просидел он под караулом. Дело было довольно казусное. Его хотели заставить жениться на дочери приходского дьякона… В другой раз один из его трактирных приятелей, подозревая Державина в шашнях и оскорбленный замечаниями насчет своей жены, заманил его к себе в дом с целью угостить палками. Там собралось несколько человек, и Державину бы несдобровать. Среди шума и спора лежавший на постели здоровенный, приземистый малый неожиданно обратился к хозяину и сказал: «Нет, брат, он прав, и ежели кто из вас тронет его волосом, то я вступлюсь и переломаю вам руки и ноги». Все онемели. Это был приезжий землемер, поручик Гасвицкий. Между ним и Державиным завязалась здесь дружба на всю жизнь, как свидетельствует оставшаяся переписка.

Сознание нравственного унижения не угасло, однако, в Державине, и жизнь эта стала наконец для него невыносимой. Совесть пробудилась, он решил вырваться из окружавшей его среды и прежде всего оставить Москву. В марте 1770 года Державин занял пятьдесят рублей, бросился в сани и поскакал в Петербург. В Твери его чуть не удержал один из прежних друзей, но он, поплатясь всеми деньгами, успел, однако, вырваться дальше. Ехавший из Астрахани садовый ученик, который вез ко двору виноградные лозы, ссудил его пятьюдесятью рублями, но и эти деньги он в новгородском трактире проиграл почти все. У него оставалось, сколько нужно было, на проезд да крестовик, полученный от матери, который он сохранил до конца жизни.

Так явился Державин в столицу.

Борьба с самим собой перед отъездом из Москвы выразилась в стихотворении «Раскаянье», в котором он, сравнивая Москву то с Вавилоном, то с магнитной горой, сознается, что она неодолимой силой влечет его к себе. «Повеса, мот, буян, картежник, – говорит он о себе, – очутился, и вместо, чтоб талант мой в пользу обратить, порочной жизнью его я погубил».

Вовремя и кстати собрался Державин уехать из Москвы. Там начиналась моровая язва и вслед за ней – буйство и волнение народа. Грозившая опасность, вероятно, способствовала также минорному настроению воина-поэта и его раскаянию в грехах.

В Петербург ему не сразу позволили въехать. Приходилось просидеть две недели у карантинной заставы. Чтобы сократить срок, Державин пожертвовал пожитками и позволил сжечь сундук, в значительной мере наполненный его опытами в литературе. Не все его ранние произведения при этом погибли: кое-что сохранилось в тетради.

Первые пробы пера Державина носили своеобразный казарменный характер. С самого вступления в полк юноша приобрел некоторую известность среди солдат переложением на рифмы бывших в ходу «площадных прибасок» насчет каждого полка. Это забавляло, конечно, товарищей, но, кроме того, они, а особенно жены их, сумели эксплуатировать его грамотность с пользой и стали просить писать для них грамотки к отсутствующим родственникам. Державин, выросший на Волге, знакомый хорошо с народом и бурлаками, искусно употреблял простонародные выражения и заслужил всеобщее расположение сослуживцев; часто они исполняли за него разные работы.

В Петербурге, в чине уже капрала, Державин оказывал сослуживцам офицерам подобного же рода услуги пером. Он писал для них то деловые бумаги, то письма, между прочим, даже интимного содержания, поэтически более или менее выражая пламенные страсти офицерских сердец. Кроме того, иногда он подносил им в подарок копии пером с гравированных портретов Елизаветы и других. По словам Державина, честные и почтенные люди полюбили его и имели на него хорошее влияние. Они же вскоре помогли ему получить первый офицерский чин.

Несмотря на интриги, друзья настояли на производстве его в офицеры гвардии, тогда как недоброжелательное начальство решало за бедностью выпустить Державина в армейские офицеры.

Двадцати восьми лет от роду Державин впервые, наконец, удовлетворил свое самолюбие, хотя «бедность, – говорит он, – была для него великим препятствием носить звание гвардейского офицера с приличием: особливо так как тогда более даже, нежели

ныне (то есть в царствование Александра I), блеск богатства и знатность предпочитались скромным достоинствам и ревности к службе». Державин получил из полка ссуду, сукно, позумент и прочее. Продав сержантский мундир и призаняв еще денег, он купил английские сапоги и карету, старенькую правда, да еще последнюю в долг, но зато это значило обзавестись *всем нужным*! Жил он в то время на Литейной, где помещались и казармы, в маленьких деревянных покойчиках, хотя бедно, однако порядочно, устранясь от всякого развратного сообщества, «ибо, – прибавляет он, – и я имел любовную связь с одною хороших нравов и благородного поведения дамою. Как был очень к ней привязан, а она не допускала меня от себя уклоняться в дурное знакомство, то и исправил я помалу свое поведение». Любопытно и то, что, не оставляя карт, он играл в это время уже не по страсти, а благоразумно и умеренно.

* * *

Сундук с «опытами» Державина, сожженный в карантине, конечно, не великая утрата в сокровищнице русской поэзии. Однако первые «пробы пера» любопытны для биографа и критика.

Державин, как мы видели, в гимназии уже выказал способности к «предметам, касающимся воображения». Обстановка детства сыграла, конечно, свою роль в развитии этой стороны его натуры. Она была незатейлива, но картины родной природы и быта кладут свою печать на впечатлительный ум ребенка, и кочевая жизнь могла только способствовать его развитию. Далее воображение развивалось чтением в гимназии.

Общество того времени было весьма невежественно. Веревкин как страстный литератор сделал попытку приобщить его к чтению и просил университет выслать двадцать экземпляров «Московских ведомостей» для распространения в крае; но и даровое угощение неохотно было принято. Из десяти полученных экземпляров разошлись после долгого времени только четыре.

Тем не менее в обществе были распространены некоторые переводные романы и кое-что из произведений Сумарокова. Потребности века вызывали особые приемы писателей. Тредиаковский в переводе «Аргениды», например, в конце каждой главы поместил мифологические и исторические примечания. Таким образом, даже чтение романов являлось, без сомнения, образовательным занятием. Оно было вместе с тем и воспитательным, так как романы переводные знакомили нашу публику с целым миром ощущений, явлений нравственных,

обусловленных широким развитием общественной и политической жизни на западе.

Свидетельство самого Державина о его первом чтении украдкой для нас важно и любопытно. Достаточное образование поэта все же было, как ясно из его слов, скорее плодом самостоятельной работы, нежели преподавания. Чтение также подтолкнуло его к первым опытам и подражанию современным писателям. Не все приходилось Державину читать украдкой. Веревкин сам старался возбудить в гимназистах охоту к чтению, заставлял выучивать наизусть речи, сочиняемые преподавателями на разных языках, причем Державин знакомился с именами Фенелона и Мольера, Ломоносова и Сумарокова.

Рядом с чтением шли театральные представления. По случаю празднества годовщины коронации Елизаветы и годовщины открытия университета Веревкин, с разрешения Шувалова, вскоре же после своего назначения и приезда устроил пышное торжество. Был дан обед на 117 человек. «Три длинные линии столов касались между собою концами. На отдаленных концах поставлены были изображения частей света, по которым распространяются области всемилостивейшей самодержицы», а в середине, где столы сходились, сделана была крутая, ущелистая гора (Парнас), на которую по узким тропинкам всходило сто человеческих фигур с книгами и инструментами в руках. Большая часть, впрочем, падала на трудном пути, но Ломоносов и Сумароков (оба еще жили тогда) вслед за Аполлоном и Музами достигали благополучно вершины, чтобы петь Елизавету по приказанию Юпитера. Его повеление приносит Меркурий, и последний так искусно на тонком волоске «летящим вниз был прилеплен, что я сам, то зная, не мог волоса видеть», с наивным восхищением пишет Веревкин в донесении Шувалову, а по поводу устроенной им комедии замечает: «Вот, милосердый государь, и в Тартарии Мольер уже известен», – представлена была комедия «Школа мужей». После комедии были ужин, бал, игра и *разговоры о науках*. Можно себе представить восторг и впечатления Державина, его стремление подражать гению и первые «чернильные» попытки.

Вытребованный из гимназии в полк, Державин, казалось, мог надеяться на покровительство Шувалова. Он не замедлил к нему явиться с рекомендацией Веревкина и с вещами, вывезенными из Болгар. Шувалов принял его любезно и, желая, по-видимому, поощрить, отправил к известному граверу Чемесову в Академию художеств. Последний похвалил его рисунки, обещал доставить через Шувалова же средства продолжать занятия, но все это как-то заглохло.

Из числа ранних «казарменных» опытов Державин сам помнил впоследствии «стансы солдатской дочери Наташе» – сатирического содержания, то есть с разными выходками более или менее вольного характера!.. Рядом с этим есть уже и попытка воспеть Екатерину александрийским размером. В старейшей тетради поэта сохранились и страстные песни, писанные иногда по просьбе друзей, и эпиграммы, мадригалы, надписи, идиллии, наконец, молитвы. Есть и целый ряд *билетов*, то есть двустиший, вроде тех, что и ныне служат «литературной приправой к конфетам», например:

Одна рука в меду, а в патоке другая.
Счастлива будет жизнь в весь век тебе такая.

И Сумароков не брезговал такими изречениями уже во дни своей славы.

К тому же времени относится первая ода к Екатерине. С этих пор начинаются попытки, которые ведут нас по пути к «Фелице». Юный поэт, по примеру Ломоносова, слышит говор сел и городов, говорит о правосудии и кротости, а главное, обращается к Истине и хочет петь «*без лести*». Последнее было тем более кстати, что в том же году Екатерина сама объявила, чего она требует и что ей неприятно. По поводу поднесения ей депутатами комиссии титула Великой секретарь Разумовского писал графу И.И. Шувалову за границу: «Прошлое воскресенье церемония, в которой депутаты просили принять титул Премудрой, Великой, Матери отечества, на что ответ был достойный сей монархини: Премудрость – одному Богу; Великая – о том рассудит потомство; Мать же отечества – то я вас люблю и любима жить желаю».

Известно, что по поводу запрещения драмы Николева губернатором в Москве за сильные стихи против деспотизма Екатерина, отменяя распоряжение, писала: «здесь говорится о тиранах, – Екатерину Вы называете Матерью». Впоследствии Державин не забыл похвалить ее за то, что она скромно «отреклась и мудрой слыть».

В эскизе позднейшей оды, одной из лучших у Державина, а именно «Видение Мурзы», поэт, обращаясь в тиши своего кабинета к Екатерине, говорит:

«Ты меня и в глаза еще не знала и про имя мое слыхом не слыхала, когда я, плененный твоими добродетелями, как дурак какой, при напоминании имени твоего плакал и, будучи приведен в восторг, в похвалу твою разные марал стихи, которых бы может быть достаточны уже были стопы на завертки в щепетильном ряду товаров, ежели бы я их не рвал и не сжигал в печи».

Не очевидно ли, что «судьба определила ему быть певцом Фелицы», если он приходил в восторг тогда, когда еще смысл новых событий вовсе не был ему ясен. Во всяком случае все, что касалось Екатерины, достойно было оды по тому времени, но Державин еще колебался в выборе формы и рода поэзии.

Получив офицерский чин, Державин вошел в общество и в это время в первый раз явился в печати, впрочем, без имени. В журнале «Старина и новизна» помещена была переведенная им с немецкого «Ироида», на сюжет, заимствованный из «Превращений» Овидия. Державин уверяет, что стихи попали в журнал без его ведома, что, конечно, возможно; они были также значительно исправлены в редакции. В том же году он напечатал в типографии Академии наук, числом 50 экземпляров, свою оду на бракосочетание великого князя (Павла), назвав себя здесь, вместо имени, «потомком Аттилы, жителем реки Ра»; ода эта – слабое подражание Ломоносову. Таковы были первые пробы пера честолюбивого юноши.

Несовершенства не только этих опытов, но и многих других его произведений, а также недостатки его как человека и гражданина в значительной мере объясняются его признаниями в «Записках» и примечаниях к стихам. Так, в неоконченном сочинении «Рассуждение о достоинству государственного человека», начатом им было в 1811 году для чтения в «Беседе»,[2] Державин говорит:

«Недостаток мой исповедую в том, что я был воспитан в то время и в тех пределах империи, когда и куда не проникало еще в полной мере просвещение наук не только на умы народа, но и на то состояние, к которому принадлежу. Нас научили тогда: вере – без катехизиса, языкам – без грамматики, числам и измерению – без доказательств, музыке – без нот и т. п. Книг, кроме духовных, почти никаких не читали, откуда бы можно почерпнуть глубокие и обширные сведения».

На фоне этой печальной картины нельзя не заметить, однако, светлых точек. После Петра Россия походила на гигантскую верфь в момент остановки работы: виден остов корабля, прилажен руль, мачты поставлены на место, но требуют скреплений. Орудия и руки готовы идти в дело, но все вместе ждет властного приказания, мановения руки, голоса, который вдохнет жизнь и в дерево, и в камень. Воцарение Екатерины дало новый толчок движению вперед; последнее проявилось не только в правительственных мерах, но и в оживлении литературы.

Державин скоро попадает в водоворот нового течения.

Глава II
Пугачевщина. – Служба при князе Вяземском. – Первые литературные опыты

Воцарение Екатерины приветствовала «вся Россия», как принято выражаться, и даже «вся Европа» в лице коронованных особ и авгуров XVIII века: Вольтера, энциклопедистов и поэтов. Воцарение Елизаветы тоже приветствовалось многими с энтузиазмом. Царствование ее убедило лишь в необходимости коренных реформ, основанных не на произвольных только воззрениях временщиков, а на прочных изменениях государственных учреждений. Екатерина отвечала, казалось, идеалу этих стремлений. Памятником ее благих намерений и «умоначертаний» остались «Наказ», целая литература и начала, на которых строилось воспитание любимого внука ее императора Александра I, но честолюбивые замыслы увлекали «матерь народа» на путь завоеваний и самовластия.

В то время как императрица готовила в комиссии об уложении «Скрижаль заповедей святых», по словам Державина, а поэты грызли перья, сочиняя хвалебные песни «Семирамиде Севера», не все на Руси обстояло благополучно. Моровая язва свирепствовала в самой Москве, ропот и недовольство усмирялись военной силой. В то же время по распоряжению графа Орлова устраивались карусели с целью «развлечь россиян, между которыми начинали обнаруживаться неудовольствие и волнение». В Петербурге не переставала действовать «тайная канцелярия», и хлопот у нее было немало. Грабежи, разбои, частые пожары озабочивали властей. Пьянство в кабаках и уличный разврат, корчемство,[3] азартные игры в кости и карты – среди бела дня и на виду, ростовщичество, изобилие векселей и контрабандная торговля – все это были явления обычные, и не гнушались ими первые вельможи. Безбородко приказывал обливать себя водой, прежде чем явиться с докладом к Екатерине после ночи, проведенной в оргиях уличных заведений. В Поволжье грабеж и разбои были популярным ремеслом; ими занимались «всех чинов» люди: беглые крестьяне и солдаты, колодники и заводские, рабочие и инородцы; бывали грабители и разбойники из дворян-помещиков.

На почве крепостного права, или, вернее, бесправия, свободно процветали жестокосердие, произвол, лихоимство,

невежество и всевозможные народные бедствия: эпидемии и голод постоянно сменяли друг друга по всему простору земли русской.

Екатерина II подтвердила в Сенате петровское изречение: «почто писать указы, коль их в диванах не творят»; но все меры против взяток и произвола ни к чему не приводили и скоро были оставлены втуне самой императрицей.

«Стоглавая гидра» пугачевщины нашла сочувствие в народных массах. Энергичный усмиритель Пугачева Бибиков писал, что трудно бороться не с мятежниками, а «с всеобщим недовольством». Он же свидетельствует, что ненависть обращалась главным образом на дворян и чиновников. Также и члены комиссии по поимке Пугачева признавали, что бунт произошел от ненависти беглецов – помещичьих крестьян – к угнетающим их владельцам и чиновникам. Князь Щербатов в «письме к вельможам – правителям государства» обращается к сановникам «блестящего века» с такими словами: «вижу ныне вами народ утесненный, законы в ничтожность приведенные: имение и жизнь гражданскую в неподлинности» и так далее и затем кончает вопросом: «чем вы воздадите народу, коего сокровища служат к обогащению вашему?» Отдельные голоса, гуманные или просто разумные, заглушаются общим хором. В сочинении, представленном Поленовым в 1768 году в Вольное экономическое общество, предсказывалась уже возможность возмущения. В большинстве, напротив, даже просвещенные люди полагали, что вотчинники, помещики являются законными господами своих крестьян и должны заботиться об улучшении их материального и нравственного быта, но свободное состояние «с нашею формой правления монархического не согласует». Этот общий взгляд выразился в словах Татищева, который под влиянием идей Пуфендорфа признает, что крестьяне-холопы лишь *по естественному своему состоянию* должны быть свободны.

Главную причину общего неудовольствия правительством Державин видит в лихоимстве. В секретной инструкции во время действий против Пугачева Бибиков предписывал ему разузнать образ мыслей населения. Сколько он мог наблюсти, лихоимство всего более поддерживает ропот, потому что всякий, кто с крестьянами имеет малейшее дело, грабит их. Это делает «легковерную» и «неразумную» чернь недовольною и поддерживает язву бунта. Державин выражается так, как будто разумные люди довольны, если их грабят, но дело оттого не меняется. А взгляд на взятки был очень простой и нехитрый. В «Трутне»[4] помещик пишет племяннику: «Вы говорите, что за взятки надлежит наказывать, надлежит исправлять слабости.

Знаете ли, что такие слова не что иное, как первородный грех: гордость? А гордыми делают вас книги»… Правый суд был редок, и законы находились в пренебрежении. Гораздо позже Державин, в бытность губернатором в Тамбове, никак не мог выписать из столицы хоть какие-нибудь печатные уложения и хлопотал о том через разных друзей. Отпечатанные экземпляры законов были редкостью и расходились в небольшом количестве.

В исходе сентября 1773 года в Петербурге праздновалось бракосочетание великого князя Павла Петровича с Дармштадтской принцессой Натальей Алексеевной. В то самое время при дворе начались смутные толки о волнениях на юго-востоке России и о появлении Пугачева. Жители городов и духовенство встречали мятежников колокольным звоном и хлебом-солью. Екатерина в негодовании уволила посланного на Волгу генерала Кара и на его место избрала генерал-аншефа Бибикова, известного твердостью, знанием дела и умеренностью. Со званием главнокомандующего в его распоряжение отданы были все местные власти и предоставлены самые широкие полномочия, Екатерина в своем рескрипте справедливо назвала его «истинным патриотом». Это был человек с образованием и благородным образом мыслей. Он служил делу, а не лицам и не умел льстить.

Державин не был известен Бибикову, но со свойственными ему энергией честолюбия и устремленностью к карьере решился попытать счастья. Явясь к Бибикову, он объяснил, что, будучи уроженцем Казани и хорошо зная край, надеется быть ему полезным. Вечером того же дня он получил приказ явиться снова и узнал о назначении своем в следственную комиссию.

Бибиков не раскаялся впоследствии в выборе. Державин оказался усердным исполнителем предписаний. Три года длилась пугачевщина, и во все это время Державин не переставал действовать энергично, постоянно стараясь выдвинуться, заслужить расположение вельмож, становившихся во главе действий, и обратить на себя внимание самой императрицы. Со смертью Бибикова Державину пришлось лавировать, ища расположения главнокомандующего Петра Панина и начальника секретных комиссий Павла Потемкина, брата известного временщика.

Смерть Бибикова была тяжелым ударом для Екатерины. Всю трудность положения он выразил сам в предсмертных словах своих: «Не жалею о детях и жене, – сказал он, – государыня призрит их; жалею об отечестве».

Екатерина сама даже думала ехать в Москву и стать во главе армии. Никита Панин указал ей на брата, которого она, впрочем,

называла «персональным ея оскорбителем» и «дерзким болтуном», так как он, живя в Москве, порицал действия правительства. В трудную минуту она одобрила, однако, этот совет. Назначение Панина имело ту выгодную сторону, что должно было убедить народ в самозванстве Пугачева, если брат дядьки великого князя, законного наследника, идет против него. Правда, народ сперва думал, что он едет с хлебом-солью навстречу императору, но Панин скоро показал, каковы эти хлеб-соль, приказав поставить в каждом селении «по одной виселице, по одному колесу и по одному глаголю для вешанья за ребро». Начались жестокие казни, *для примера*, и повальное сечение. Державин уже раньше писал из Саратова о необходимости прислать преступников для примерной казни, надеясь, что зрелище это «даст несколько иные мысли». Орудия в селениях стали применять прямо к местным жителям, лишь только по мере приближения самозванца заподозривалось сочувствие к нему. В исполнении этих мер, особенно в сечении, розысках и поимках, в допросах в застенках, по большей части «с пристрастием», Державин выказал редкую энергию, настойчивость и лукавство. «Алексеевских жителей мне было пересечь некогда, – пишет он князю Голицыну. – Когда буду возвращаться, то вашего сиятельства приказ исполню». «Смертные казни и телесные кары для обуздания народа были в общем плане распоряжений правительства; это необходимо иметь в виду при наказаниях, какие в ту эпоху не раз приходилось совершать и Державину», – замечает биограф поэта, академик Я.К. Грот. С этим фактом никто не может спорить, но остается свобода в оценке характера поэта, которого никто не побуждал к избранию подобной деятельности.

Заметим кстати, что Екатерине действия Панина были в самом деле больше по душе, чем сдержанность Бибикова. В ответ на донесение Панина Екатерина ему писала:

«Печатное ваше объявление (о виселицах)… сочинено *в простом и очень понятном для подлого народа слоге* и довольно явственно доказывает, с каким хлебом-солью вы намерены встречать общественного врага».

А враг становился все более и более грозным, встречая сочувствие в массах. Главной чертой движения было ожесточенное преследование и уничтожение дворян. Последним оставалось только спасать жизнь бегством, пока не было поздно.

Из донесений Державина и самого главнокомандующего ясно видно, что трудно было бороться не столько с Пугачевым, сколько с изменой крестьян, солдат и всех сословий. Приходилось устрашать жестокостью, брать людей в залог. Державин, исполняя

приказания Бибикова, выказал необыкновенную предприимчивость и энергию; сам академик-биограф признает, однако, что при всем том деятельность Державина в эту эпоху не привела к особенно видным результатам. Кроме того, чрезмерной настойчивостью и явным искательством Державин возбудил неудовольствие графа Панина. Сама Екатерина обратила внимание Панина на разноречие рапорта Державина о гибели Саратова с другими данными и поручала расследовать, «соответствуют ли храбрость его и искусство словам». Астраханский губернатор называл гвардии поручика Державина *ветреным человеком*, между тем как сам он всюду думал играть решающую роль и требовал повиновения от комендантов. В одном донесении Голицыну он просит приказать, чтобы ему «еще больше внимали». «О, когда бы я *Вами* был довольно силен, то кажется на что б я не пустился к службе моему отечеству и моей всемилостивейшей императрице», – говорит он. Между тем Державин оставил Саратов перед самым приходом туда Пугачева. Прав ли он был или нет в своих пререканиях с властями о плане защиты, – факт его удаления повел к следствию и требованию объяснений. Державин представил многословное письменное оправдание и кипу бумаг, требуя суда над собой. Все это Панина не удовлетворило. Он отнесся к делу внимательно и сам ответил Державину без гнева, видя в нем дарования и усердие, но весьма иронически, очевидно желая дать ему урок. Вождь армии находит, что офицер прежде всего должен быть на своем посту, и советует ему не искать суда, так как пред законом важны действия, а не «сокровенность человеческих сердец, изъявляемых словами».

Екатерина одобрила вполне действия Панина, ответ его Державину и выразила надежду, что урок его образумит.

Вскоре Державин явился сам к графу Панину, добился аудиенции и, по рассказу его в записках, объяснил все свои действия, тронул своей откровенностью, и граф сказал ему наконец: «Садись, я – твой покровитель». Вслед за тем Державин отправился в Казань к Потемкину приобретать его благосклонность.

Бунт кончился поимкой Пугачева. Граф Панин, увидя его в цепях, воскликнул: «Боже милосердный! В гневе Твоем *праведно* наказал нас сим злодеем». Потом он велел увести злодея и обратился к своему окружению с трогательной речью насчет поведения живущих в деревнях дворян.

Окончательное покорение Поволжья совершилось только по прибытии Суворова, которому Панин дал полную свободу действий. Румянцев долго не решался отпустить Суворова из-под

стен Силистрии, опасаясь, по его словам, подать тем Европе слишком великое понятие о внутренних беспокойствах в государстве. В конце концов это стало необходимо, и только его энергия и искусство потушили ужасающий пожар, грозивший самой Москве. Пугачев скоро сознался в самозванстве. *Богу было угодно*, сказал он, *наказать Россию через мое окаянство*. Везли его в деревянной клетке на двухколесной телеге. Сильный отряд при двух пушках окружал его. Суворов от него не отлучался. Когда близ избы, где они ночевали в пути, случился пожар, Пугачева высадили, привязали к телеге, и во всю ночь Суворов сам караулил его. В Москве с утра до ночи в течение двух месяцев любопытные могли видеть его прикованного к стене на Монетном дворе, «еще страшного в своем бессилии», говорит Пушкин. Казнь его совершилась в Москве же 10 января 1775 года.

Со времени поимки Пугачева началась немедленно раздача наград. Екатерина не скупилась, но Державин был обойден, к великому его огорчению. Неудача, однако, его не остановила. Он принялся энергично действовать, отыскивая покровителей. Просил писать за него главному начальнику, новому в то время временщику Потемкину, писал ему сам, исчисляя свои заслуги. Наконец захватил самого Потемкина, так сказать, врасплох, в деревне Черная грязь, где жила в небольшом домике императрица и помещался Потемкин. Ворвавшись в уборную графа наперекор камер-лакею, он подал ему просьбу. Граф, прочитав, обещал доложить государыне. Нетерпеливый поручик стал являться часто за ответом, и Потемкин однажды наконец, по словам самого Державина, «отскочил от него с негодованием». В ожидании награды Державин предался опять игре и выиграл у графа Апраксина 40 тысяч. Счастье стало, однако, изменять ему, и хотя *можно бы*, говорит он, выиграть несравненно превосходнее суммы, но фортуна переменилась. Тогда он снова написал Потемкину. Наконец Безбородко объявил ему, что государыня приказала спросить, какой он требует награды. Обратив на себя ее взор, Державин думал выказать бескорыстие и ответил, что доволен одним этим милостивым вниманием. На повторенный от имени графа Потемкина вопрос он уже ответил прямо, что за производство дел по секретной комиссии желает получить деревни, а за спасение от Пугачева немецких колоний как за военное действие – чин полковника. «Хорошо, – сказал князь, – вы получите». В конце концов Державин пожалован был в коллежские советники и получил 300 душ в Белоруссии. Очевидно, награждая его усердие, Екатерина, согласно с мнением Панина, не одобряла характера его действий и нашла неудобным оставить его на службе в армии.

Державину, впрочем, не пришлось жалеть об этом.

Первым делом теперь написал он в прозе дифирамб, излияние благодарного сердца императрице Екатерине II.

Через приятелей своих Державин вошел в дом князя Александра Алексеевича Вяземского и скоро стал у него домашним человеком. Князь почти во все время царствования Екатерины был одним из самых влиятельных сановников. В звании генерал-прокурора он соединял в своем лице обязанности трех нынешних министров: юстиции, внутренних дел и финансов и, сверх того, начальника тайной полиции.

Супруги Вяземские полюбили Державина. Князь охотно играл в карты *по маленькой*, и Державин попал в число его постоянных партнеров; он читал ему вслух романы, проводил в доме и на даче целые дни. Между тем в Сенате открылась вакансия. Державин немедленно приехал на дачу князя, застал последнего за туалетом и просил о назначении. В прихожей князя дожидалась какая-то бедная женщина. Князь велел Державину взять у нее челобитную и, прочитав, объяснить содержание. Проверив по бумаге, он остался доволен изложением и сказал: «Вы получите желаемое место». В тот же день состоялось назначение Державина сенатским экзекутором. Продолжая бывать в доме князя, Державину нетрудно было при его смелости и развязности познакомиться со всеми сенаторами и разными важными лицами. Княгиня стала сватать ему даже родственницу, княжну Урусову, любительницу литературы, но некрасивую. К чести Державина, он отказался от брака по расчету и отделался шуткой: «Она пишет стихи, – говорил он, – да и я мараю; занесемся оба на Парнас, так некому будет и щи сварить». Скоро он нашел себе невесту по душе. Глядя из окна квартиры Козодавлева на крестный ход, он заметил девушку, которая ему очень понравилась. Это была дочь любимого камердинера Петра III, португальца Бастидона. Мать ее была кормилицей великого князя. Девушку звали Катериной, ей было всего семнадцать лет, а Державину в это время – тридцать пять. Он видел ее после того еще раза два и влюбился. Друзья, угадав тайну, помогли ему в сватовстве. Один из них, директор банка, предложил свезти его в дом девушки. Державин так описывает прием.

В сенях встретила приятелей босая девка с сальной свечой в медном подсвечнике; хозяйка приняла их в гостиной, где после та же служанка разносила чай. Катерина Яковлевна все время вязала чулок и иногда с большой скромностью вмешивалась в разговор. Державин, очарованный ее простотой, *опрятностью*, умом и любезностью, на следующий день сделал предложение, и оно было принято. Впоследствии он стал звать ее *Пленирой*, и это имя

часто повторялось в его стихах. На сговор свой он написал стихотворение «К невесте». Воспитание ее было обыкновенное, она не много читала, но «пленялась всем изящным и не могла скрыть отвращения ото всего низкого». Девушка усердно занималась рукоделием, рисованием и писала для шутки стихи. До свадьбы жених и невеста были представлены наследнику; он обещал дать ей приданое «сколько в его силах будет». Года через два поэт напомнил об этом кому следовало. Державин никогда не раскаялся в своем выборе, и жена его стала центром кружка литературных его приятелей.

Повышение по службе не заставило себя ждать, и Державин еще ближе стал к своему покровителю князю Вяземскому. Он сам весело изображает свое положение в оде «На счастье»:

Судья, дьяки и прокуроры,
В передней про себя брюзжа,
Умильные мне мещут взоры
И жаждут слова моего.
А я всех мимо по паркету Бегу,
нос вздернув, к кабинету
И в грош не ставлю никого.

Новое поручение, возложенное на Державина, стало источником недоразумений и неудовольствий между ним и князем. Он составил устав, или «начертание» для финансовых экспедиций, включенное в «Полное собрание законов». Усердие его и знание здесь обнаружились, но все же этот устав был сочинен «по мыслям князя», как сознает сам автор. Между тем заносчивость и честолюбие побудили его немедленно требовать награды. Действительно, Державина произвели в статские советники, но уже благодаря покровительству Безбородко. Такое искательство возбудило неудовольствие князя, и начались несогласия.

Державин с этого времени в разных ситуациях осуждает князя и указывает на его неправильные действия. Благодаря близости к князю ему это было нетрудно. За князем водились крупные грехи. Екатерина сама знала это, но смотрела сквозь пальцы, видя в нем незаменимого слугу, а главное, у него всегда были наготове деньги «для всех возможных случаев и это еще при таком ненасытном моте, как я», писала она Гримму. По уверению Державина, князь управлял государственным казначейством самовластно, в обход законов, раздавал жалованье и пенсии по своему произволу, без высочайших указов, и утаивал доходы с тем, чтобы выслуживаться пред государыней, как бы вдруг

открывши новый источник. Другие современники подтверждают это обвинение. Порошин передает разговор с Никитой Паниным, который много удивлялся, как фортуна поставила князя столь высоко; при этом упоминалось о разных случаях, которые могут оправдать такое удивление. Как бы ни было, нельзя не признать, что Державин, по личным мотивам, обманул доверие своего покровителя. В неудовольствиях, конечно, виноваты были обе стороны. Вяземского обвиняют в том еще, что он гнал со службы литераторов. «Когда им заниматься делами, когда у них рифмы на уме», – говорил он. Возможно и то, что он возненавидел поэтов благодаря Державину, который намекал на него в сатирических стихах по поводу барельефа нагой Истины в Сенате. Поэт уверяет, что князь нашел вид ее соблазнительным для Сената и приказал несколько ее «прикрыть». К Вяземскому относят знаменитую «Челобитную Минерве» Фонвизина, где автор жалуется на вельмож-невежд, преследующих поэтов, и, указывая на решение не принимать их на службу, просит «таковое наш век ругающее определение отменить» и так далее.

Державин в это время уже стал известен как поэт и как автор «Фелицы». Награды и милости Екатерины его ободрили, и он обратился к Вяземскому с письменной просьбой об отставке. Князь велел ему подать просьбу через Герольдию в Сенате, по форме. Долгое время князь не выпускал доклада, а между тем молва о ссоре дошла до государыни. Наконец доклад Сената был ей представлен; утвердив его 15 февраля 1784 года, она поручила Безбородко сказать «певцу Фелицы», что будет иметь его в виду. При увольнении ему пожалован был, по закону, чин действительного статского советника. Таким образом достиг Державин «степеней известных».

Впервые обратили внимание на Державина в литературе с появлением двух его «Песен Петру Великому». Одна из них, говорят, вошла в большое употребление у масонов, так как они особенно чтили Петра за его простоту и смирение в труде. Стихи отвечали этому настроению:

Лучи величества скрывая,
Простым он воином служил;
Вождей искусству научая,
Он сам полки на брань водил.
Владыка будучи полсвета,
Герой в полях и на морях,
Не презирал давать отчета
Своим рабам в своих делах.

Державин не решался еще подписывать имя, но тем не менее эти опыты вводили его в круг таких сотрудников журнала, как Княжнин, Капнист и Хемницер. Влияние их на малообразованного поэта скоро дало свои плоды, а пока неизвестность была кстати. Державин сам рассказывает, как однажды на обеде у Хераскова известный литератор, масон и придворный Иван Перфильевич Елагин стал критиковать в его присутствии оду *какого-то* Державина. Напрасно толкала оратора хозяйка, он говорил, ни о чем не догадываясь. Державин смутился и краснел. После обеда Елагин, узнав о своей неосторожности, готов был как-нибудь загладить вину, но Державина уже не нашли. Прошло несколько дней – Державин не показывается. Наконец он является снова с веселым лицом. «Два дня сидел дома с закрытыми ставнями, – объяснил он, – все горевал о моей оде; в первую ночь даже глаз не смыкал, а сегодня решился ехать к Елагину, заявить себя сочинителем осмеянной оды и показать ему, что и дурной лирик может быть человеком порядочным и заслужить его внимание, – так и сделал. Елагин был растроган, осыпал меня ласками, упросил остаться обедать, и оттуда я прямо к Вам».

Несомненно, в это время Державин стал яснее сознавать свое призвание и ответственность таланта. Он ищет пути и благодаря влиянию друзей начинает отходить от рабского подражания Ломоносову в напыщенной оде, как, например, в «эпистоле» к Шувалову. «Знаменитые невежды», по выражению Фонвизина, не признавали еще поэзию серьезным занятием, но под покровительством Екатерины литература приобретала значение. Правда, она называла свои литературные занятия *бумагомараньем*, однако не могла видеть пера чистого, чтобы «не обмакнуть онаго в чернила», как писала она Гримму. Она *хотела* держаться правила: не воспрещать честным людям свободно изъясняться, и хотя не выдержала роли до конца, но во всяком случае начало известности Державина совпадает с тем временем, когда Вольтер называл ее монархиней, que pense en grand homme и que permet qu'on pense (мыслящей как великий человек и разрешающей мыслить).

В это время возник ряд журналов и образовался круг писателей и любителей литературы. Уже раньше в доме князя Вяземского Державин познакомился с Козодавлевым и Храповицким, людьми весьма образованными литературно; теперь к числу упомянутых сотрудников «Вестника» надо прибавить имя Львова, и тогда влияние современников на Державина определится вполне.

Львов Николай Александрович также не получил основательного воспитания, но, будучи необыкновенно даровит и

любознателен, много читал, путешествовал и усвоил себе светское образование. Литературное его развитие совершилось главным образом под влиянием французских и итальянских писателей. Он любил легкую, шуточную поэзию, сам писал стихи в этом роде и между друзьями своими слыл русским Шапелем – известно, что в то время каждый русский писатель непременно должен был уподобляться какому-нибудь иностранному образцу. В поэзии Львов ставил выше всего простоту и естественность, причем знал уже цену народному языку и сказочным преданиям. Разнообразием своих талантов и обширной деятельностью при его положении в высшем обществе ему нетрудно было приобрести репутацию тонкого знатока искусств и светского критика. Такую репутацию составил он себе при дворе и в литературе.

К одной эстетической школе со Львовым принадлежал и друг его Хемницер. Первые литературные опыты его были слабы, но с переходом к басне он становится как бы новым человеком, усваивает простоту и естественность в соединении с народным духом как необходимым элементом нового рода поэзии. Это совершилось, как видно из рукописи его, не без влияния Львова и Капниста. Державин впоследствии всегда оставался горячим поклонником его басен.

В то самое время, когда Хемницер готовил их к печати, Державин присоединился к названному кружку лиц и невольно подчинился влиянию их эстетических взглядов, тем более что сам уже не был собою доволен. Потребность стать ближе к правде и природе он сознал, ознакомившись с теорией Батте, главным требованием которой было «подражание изящной природе».

«С 1779 года, – говорит Державин в „Записках“, – избрал я совершенно особый путь, руководствуясь наставлениями Батте и советами друзей моих, Н.А. Львова, В.В. Капниста и Хемницера, причем *наиболее подражал Горацию*».

В самом деле, «эпистола» к Шувалову напоминала послание Ломоносова к тому же вельможе, и вдруг через месяц после нее в «Вестнике» явилась пьеса, в которой никто не мог бы узнать того же автора, и многие спрашивали: «Кто писал это? Кто этот новый талант, так много обещающий?» Это была ода «*На смерть князя Мещерского*», поразившая читателей небывалою звучностью стиха, силою и сжатостью поэтического выражения, наконец, величием образов, обнажающих печальную истину о непрочности жизни и благ ее. Здесь в первый раз талант Державина обнаружился с полным блеском. Основная мысль оды – грозное владычество смерти – встречается часто у Горация и нередко также разрабатываема была поэтами европейскими XVII и XVIII веков.

Державин бывал на лукулловых пирах князя, и весть о смерти

последнего поразила его. Здесь уже не отвлечение только, но и картина, не лишенная красок и жизни. Ничтожество всего живущего пред смертью олицетворяется в ее видении:

Глядит на всех – и на царей,
Кому в державу тесны миры,
Глядит на пышных богачей,
Что в злате и сребре кумиры и т. д.

В заключение – утешительный аккорд: умереть надо сегодня или завтра, все равно, «жизнь есть небес мгновенный дар». Идеал благополучия – душевный покой и мирная жизнь. Источник мирной жизни поэта – ключ стихотворства. В поэзии отражается красота природы.

Разнообразие таланта Державина проявляется вслед за тем в стихах на рождение Александра Павловича в день, «когда солнце оборачивается на весну».

Державин сам назвал эту оду «аллегорическим сочинением». Пьеса своей игривой легкостью, грацией и самой формой резко отличается от торжественных од и потому отнесена им самим к разряду анакреонтических стихотворений. Эти последние показывают его живое сочувствие к древнему миру.

В самом деле, его «застольная песня» «Кружка» в этом поэтическом жанре годом раньше уже пользовалась известностью, была положена на музыку придворным гуслистом Трутовским и сделалась любимою песнью на дружеских пирах. В ней много живого веселья и остроумия, не утратившего и теперь значения известного рода житейской философии.

Бывало дольше длился век,
Когда диэт не наблюдали.
Был здрав и счастлив человек,
Как только пили, да гуляли.
Давно гулять и нам пора,
Здоровым быть
И пить. Ура, ура, ура!

Все упомянутые здесь стихи впоследствии приводили в восторг несколько поколений и заучивались наизусть. И действительно, живость красок, разнообразие и пластичность картин, прелесть языка, неслыханные до того плавность и музыкальность стиха не могли не производить сильного впечатления.

В поэзию Державина начинают уже проникать гуманные идеи, порожденные началом царствования Екатерины и западным влиянием. Отдавая справедливость поэту, надо заметить, что не только одни блестящие победы воспевались им. Например, в оде на рождение Александра он говорит: «Будь страстей своих владетель, Будь на престоле человек». Эти строки не раз отозвались в сердце юноши, будущего преемника Екатерины.

В некоторых из перечисленных од появляются не менее важные интонации, мысли и картины. В них поэт напоминает человеку о строгих уроках жизни, о превосходстве и торжестве духовного мира над телесным, об обманчивом блеске почестей и наслаждений. Противоположность смерти и жизни, горя и радости выражается то в ярких образах, то в шутливой, но тем не менее сатирической форме. Насколько могла тогда поэзия влиять непосредственно на современников или участвовать в воспитании нового поколения, это вопрос другой, заслуживающий более серьезной разработки. Блестящие живые картины отвечали богатому воображению Державина и заслужили ему определение поэта-живописца. Мысль о поучении как об одном из элементов поэзии развивалась под воздействием современного французского и общеевропейского влияний, укреплялась примером Екатерины и находила живой отклик в поклонении древним, особенно Горацию. Благодаря этому элементу, мы видим в Державине поэта-философа. Благодаря тому же почти все стихотворения Державина страдают длинностой, резонерством; риторика без образов преобладает, но эта поэзия удовлетворяла вкусу и потребностям своего времени. Стихотворения Державина в «С.-Петербургском вестнике» все еще печатались без подписи, но издатель, печатая их, сообщил автору, что «публика творения его одобряет», и Державин не без основания говорит в оде «На смерть князя Мещерского» о себе:

Зовет, я слышу, славы шум.

Глава III
«Фелица»

В поэзии Державина, как в фокусе волшебного фонаря, оживает блестящая феерия знаменитой эпохи. Мы знаем заранее, чего в ней искать. Век Екатерины – отражение века Людовика XIV во Франции. Наряду с заимствованием и подражанием этот век сохраняет своеобразные черты национального характера. Мы видим честолюбивые замыслы, громкие победы, расцвет литературы, «философию на троне», роскошный двор, напыщенных раболепных вельмож вокруг величавой царственной «жены», изысканную любезность и восточный деспотизм, «Наказ», идеи Локка о воспитании, сатиру на нравы и восточную распущенность… видим, словом, отражение знаменитого века контрастов, отражение эпохи, не повторяющейся дважды в истории народа.

На вопрос: кто ты? – Державин имел бы право ответить: «Что в имени тебе моем: я – певец Фелицы». Век Екатерины, по непреложным законам Провидения, должен был иметь свою «придворную поэзию», и если не вдохновенным, то все же выразительным, талантливым представителем этой поэзии становится Державин.

Он вступил на истинный свой творческий путь, когда *дерзнул* первый «в забавном русском слоге о добродетелях Фелицы возгласить, в сердечной простоте беседовать о Боге и истину царям с улыбкой говорить».

В поэзии Державина истина и лесть сплетаются чрезвычайно искусно. «Владыки света – люди те же, – говорит он: – в них страсти, хоть на них венцы», – однако и страсти эти приобретают под пером его благородный или изящный характер, и сатира не вредит личным отношениям автора. «Как солнце, как луну поставлю, – обращается он к Екатерине, – …тобой бессмертен буду сам», поясняя в примечании, что и древние поэты своих героев помещали в число созвездий и светил небесных, защищаясь таким образом от упрека в экзальтации.

В ярких красках рисует «Фелица» двор Екатерины и жизнь вельмож ее, исполненную фантастической роскоши, барской прихоти и страсти к наслаждениям. Современники узнавали здесь себя, видели знакомые лица и нравы. Во дворце Екатерины в Царском Селе была прекрасная колоннада-галерея, на которую вела широкая каменная лестница, украшенная бюстами Геркулеса и Флоры. Здесь государыня часто ходила, особенно в воскресенье,

когда в саду бывало много гуляющих. В уборной она слушала дела, доклады и видела у ног своих господарей, кавказских владетелей, гонимых государей, приезжавших просить помощи или убежища, знаменитых ученых и поэтов. Здесь и Державин приближался, то как поэт, то как докладчик, и в числе украшавших галерею мраморных полукумиров, где был и Ломоносов, наш поэт уже тогда мечтал иметь со временем право занять место, только, по его словам, как певец Екатерины… «Ты – славою, твоим я эхом буду жить».

Не столько бюсты украшали дворец, сколько знаменитые «орлы» Екатерины, ее вельможи и фавориты. Они напрягали все усилия, чтобы доставлять Екатерине любимые развлечения, а лира Державина содействовала им, то описывая праздники в ярких красках, то воспевая присутствующих.

Екатерина умела располагать к себе, привязывать людей не только любезностью и умом, но и щедростью. Своим любимцам она не отказывала ни в чем, смотрела не раз сквозь пальцы на явные хищения и не была довольна, если услужливые люди доводили об этом до ее сведения. Расточительность вельмож нередко превосходила чуть ли не ее собственную. Недаром Потемкина называет Державин вторым Сарданапалом. Описание наполовину в прозе, наполовину в стихах потемкинского праздника у нашего поэта – исторический документ, яркая картина эпохи. Мы видим здесь Семирамиду Севера в обстановке, вполне отвечающей ее характеру, величию и ее исторической роли.

Праздник вызван переменой в расположении императрицы к ее фавориту. Потемкин встревожен. Он видит подтверждение доходивших до него слухов о перевесе влияния Зубова. Болезненная тоска, тайные предчувствия снедают душу честолюбца. Его замыслы и победы уже не удовлетворяют повелительницу, и он задумывает испытать последнее средство вернуть ее нежность: доказать, что в преданности к ней никто не может с ним сравняться. Он решает дать ей в своем Таврическом дворце праздник, который неслыханным великолепием должен затмить все прежние празднества этого рода.

Не только Державин был поражен, но сама Екатерина, не узнавая превращенных зал, спрашивала: «неужели мы там, где были прежде?» Сто тысяч огней внутри дома: карнизы, окна, простенки – все усыпано чистыми кристаллами горящего белого воска. Фонари свешиваются с высоты, отражая свет в хрустале и камнях… Стены, окна усыпаны горящими звездами, цепями из драгоценных сверкающих каменьев; эффект света – зарево, радуга, тень. Искусство везде подражает природе. Целые рощи

апельсинов, лимонов; виноград на тычинах,[5] ананасы, лилии, тюльпаны… Пруды, золотые рыбки, соловьи, песнь которых смешивается с музыкой. В зимнем саду – храм. Князь опускается здесь в присутствии Екатерины и двора на колени пред алтарем с изображением Фелицы и благодарит монархиню за ее благодеяния. Она милостиво подымает его и целует в лоб.

После ужина императрица удаляется с бала. Уже поданы были колесницы. Внезапно послышалось нежное пенье с тихими звуками органа с висящих хоров, закрытых разноцветными стеклянными фонарями. Все молится и внимает хору, воспевающему Екатерину. Потемкин повергается опять к ногам монархини. Сама императрица была тронута до слез. Многие потом усматривали в этом и в волнении Потемкина предзнаменование его близкой смерти. Он видел Екатерину в самом деле последний раз в своем доме.

Державин не раз старался изобразить идеал вельможи, которого первый долг «змеей пред троном не сгибаться, стоять – и правду говорить». Княгиня Дашкова, будучи директором Академии наук и издавая «Собеседник», просила Державина написать что-нибудь в честь Потемкина, в угождение императрице. Исполняя эту просьбу, поэт назвал вельможу *Решемыслом*, по имени выведенного Екатериной в «Сказке о царевиче Февее» героя, под которым она сама разумела Потемкина. Лично не зная его совсем, Державин хвалил в его лице достоинства вельможи вообще и в одной из позднейших рукописей к заглавию оды («Решемысл») прибавил слова: «или изображение, каковым быть вельможам должно». Идеал этот не отступал от известного шаблона, установившегося издавна. Сумароков в письме о достоинстве говорил: «Честь наша не в титлах состоит; тот *сиятельный*, который сердцем и разумом сияет, тот превосходительный, который других людей достоинством превосходит, и тот болярин, который болеет за отечество». Любопытно, что Державин, несмотря на непочтение к Сумарокову, не нашел ни нового, ни более искреннего слова в изображении вельможи и рисует идеал в тех же почти выражениях: «Я князь – коль мой сияет дух; Владелец – коль страстьми владею; Болярин – коль за всех болею, Царю, закону, церкви друг». Насколько идеал был близок к действительности, видно уже из «Записок» самого Державина.

Державин говорит, что ода «Фелица» была написана им во вкусе императрицы, так как она любила забавные шутки. Любопытно в этих словах выражение самосознания поэта. Путем критического анализа, путем сравнительного изучения истории, быта и литературы мы придем к тому же выражению

характеристики поэта и отношения его к современности. Вкус, образы, идеи – все дышит, если можно так сказать, Екатериной в каждой строке оды. Удивляться ли тому? Фонвизин стоял некоторым образом в оппозиции к Екатерине, и тем не менее идеи «Наказа» легли в основание современной «Фелице» комедии «Недоросль». Державин все, кроме поэтического выражения мыслей, кроме картинных описаний действительности, заимствует у самой Екатерины. Если исключить шуточный тон, любезный ей, в основание содержания Державин берет ее же сказку о царевиче Хлоре и пользуется таким образом модной аллегорией восточных сказок.

Подобно тому, как в «Недоросле» устами Стародума говорят французские философы и русские стародумы, в «Фелице» многие строфы представляют собой рифмованное переложение статей «Наказа» и других уложений. «Фелицы слава, – говорит он, – слава Бога», который не только в общей форме проявляет великодушие и благость, но

Который даровал свободу
В *чужия области скакать,*
Позволил своему народу
Сребра и золота искать,
Который воду разрешает
И лес рубить не запрещает,
*Велит*и ткать, и прясть, и шить и т. д.

Все строки здесь суть «начертания» Екатерины. Она подтвердила данную Петром III дворянству свободу путешествовать по чужим краям; издала указ о праве. землевладельцев разрабатывать в собственную пользу золото и серебро на своих участках, дозволила свободное плаванье по морям и рекам для торговли, распространила право собственности владельцев на леса, в дачах их растущие, разрешила свободное развитие мануфактуры и торговли… По образному выражению поэта, этими указами она как бы *велит* гражданам извлекать, где можно, пользу, «развязывая ум и руки, велит любить торги, науки…» После «Наказа» она продолжает творить законы, сочинять дворянскую грамоту, устав благочиния и в них «блаженство смертным проливает». Державин в «Записках» говорит, что императрица, подобно Трояну, была очень снисходительна к людям, отзывавшимся злоречиво о ее слабостях. В «Наказе» правда говорится, что слова могут быть сказаны в разных смыслах, и поэтому нельзя по ним, заключить об оскорблении Величества и наказывать как за действие. Таким

образом, она «о себе не запрещала и быль, и небыль говорить». В начале царствования Екатерины «слово и дело» перестало быть грозой всякого честного и кроткого гражданина. Стало возможным даже «в обедах за здравие царей не пить», не боясь казни, тогда как при Анне Иоанновне достаточно было подобного доноса, чтобы попасть в тайную канцелярию. Перестало считаться преступлением подскоблить описку в строке с именем императрицы «или портрет неосторожно ее на землю уронить». За перенос титула прежде писцы наказывались плетьми. Если же кто ронял монету с изображением государыни, достаточно было произнести «слово и дело»,[6] и несчастный подвергался «розыску» в *Тайной*.

Наряду с государственной доблестью Екатерины поэт не забывает хвалить ее достоинства как человека и женщины: простоту ее образа жизни, трудолюбие, кротость, любезность, правосудие и, наконец, любовь к литературе. Все качества ее ярко выступают при сравнении; последнее особенно оригинально выражено в строфе, где Державин, подсмеиваясь над современной модой монархов заниматься ручным трудом и намекая на упражнения Людовика XVI в слесарной работе и короля испанского будто бы в делании макарон, говорит:

> В те дни как *Мудрость* среди тронов
> Одна не месит макаронов,
> Не ходит в кузницу ковать,
> *А разве временем лишь скучным*
> *Изволит муз к себе пускать*
> И перышком своим искусным,
> *Не ссоряся никак ни с кем,*
> Для общей и своей *забавы*
> Комедьи пишет, *чистит нравы*
> И припевает хем, хем, хем…

В словах, подчеркнутых нами, ясно выражается характер отношения к литературе самой Екатерины, Державина и современников, и выражение это ценно для нас своей непосредственностью, наивным самосознанием. В одном только не могла Екатерина служить Державину образцом; она, по его же выражению, «коня Парнасска не седлает», то есть не пишет стихов. «De ma vie je n'ai su faire ni vers, ni musique» (в жизни моей не умела сочинить ни стихов, ни музыки), – писала она Вольтеру. Либретто для опер ее писал Храповицкий; в шуточной поэме «Леониана», героем которой был Лев Нарышкин, ей принадлежал план смешных похождений, а стихи сочинялись Де Линем, когда

он сопровождал ее в путешествии по Волге.

«Фелица» была не первой попыткой воспеть Екатерину; точно так же и другая сторона этой оды – сатирическая в описании двора и вельмож – имела предысторию. В стихотворении «Модное остроумие» Державин уже в 1776 году пытался изобразить современное ему легкое отношение общества к вопросам чести и добра. В окончательной форме стихи эти напечатаны только в 1783 году в «Собеседнике» и в первый раз сближают Державина с сатирой Фонвизина, Екатерины и журналов того времени. «Модное остроумие» заключается в том, чтобы не «мыслить ни о чем и презирать сомненье, на все давать тотчас свободное решенье», мало знать, много говорить, льстить, затем:

Любить по прибыли, по случаю дружиться,
Душою подличать, а внешностью гордиться…

Сатирические намеки в оде «Фелица» находят объяснение как в записках самого поэта, так и в фактах, освещенных историей. Если поэт ставит в заслугу Екатерине, что она «коня Парнасска не седлает», то, разумеется, он указывает этим на нелепость и наглость опытов бездарных кропателей од; «к духам в собранье не въезжаешь», говорит он, подразумевая масонов, которых осмеивала сама Екатерина. Масонство, конечно, было явление серьезное и заслуживало большего почтения, но адепты его часто доходили до нелепости и становились смешны. Многие вельможи занимались охотно магнетизмом и алхимией, и по недостатку образования и серьезных научных сведений занятия эти обращались часто в забаву. С другой стороны, явления двора, внешняя жизнь, черты нравов давали материал для описаний с натуры, поэтических образов и картин.

Когда Державин хвалит Екатерину, говоря: «подобно в карты не играешь, как я, от утра до утра», он рисует немаловажную живую черту века. В то время при дворе карты составляли ежедневное занятие и часто влекли за собой важные последствия. Не говоря уже о том, что ставкой служили стада живых людей, за ними забывались важнейшие политические дела и соображения. При дворе Елизаветы приближенные к ней дамы играли в фараон с утра до вечера и ночью. Екатерина II, будучи великой княжной, также должна была принимать участие в этих забавах.

Те же вельможи, воспетые Державиным, клали земные поклоны при входе к государыне в уборную, и гордый Петр Панин подписывался в письмах и донесениях Екатерине «всеподданнейший раб», хотя она же вскоре сама запретила называть просьбы *челобитными* и повелела подписываться не

«раб», а «верноподданный»; Капнист написал по этому поводу оду «На истребление в России названия раб». Нравы были крепче указов. Шутовство при дворе Екатерины, конечно, казалось современникам нисколько не унизительным по сравнению с прежним временем, и Державин за то возносит Екатерину, что при ней «свадеб шутовских не правят, в ледовых банях их не жарят, не щелкают в усы вельмож, *князья наседками не клохчут*, любимцы въявь им не хохочут и сажей не марают рож». Картина эта относилась к царствованию Анны Иоанновны. Когда она в придворной церкви слушала обедню, шуты садились в лукошки в той комнате, через которую императрица проходила из церкви во внутренние покои, и кудахтали, как наседки, что производило общий хохот. Говорят, в Петергофском дворце долгое время можно было видеть лукошко, в котором сиживал князь Голицын.

Не в столь обидной форме, но все же шутовскую роль при Екатерине играл Лев Нарышкин. В нем ценила Екатерина ум и комический талант, но то и другое обращалось нарочно в одно посмешище. Она называла его то «прирожденным арлекином», то «слабой головой», но неизменно сохраняла к нему благосклонность.

Известно, что знаменитый вопрос 14-й Фонвизина: «отчего шпыни и шуты, и балагуры в прежнее время чинов не имели, а ныне имеют и весьма большие» – метил в Нарышкина с ему подобными. Тем же вопросом, по-видимому, вызвана была басня Державина «Лев и Волк». Волк жалуется, что он не получил ленты, тогда как «Пифик с лентою и с лентою осел» и т. д. Лев дал ответ: «Ведь ты не токмо не служил, но даже никогда умно и не шутил».

Автор «Фелицы» рассказывает, что, написав ее, показал друзьям своим Львову, Капнисту и Хемницеру, а затем спрятал, «опасаясь, чтобы некоторые вельможи не приняли чего на свой счет и не сделались его врагами». Случайно увидел ее однажды Козодавлев, выпросил домой, обещая никому, кроме тетки, поклонницы Державина, не показывать, и, как всегда в этих случаях бывает, рукопись стала ходить по рукам. Прочли ее Шувалов и другие. Она появилась вскоре напечатанной в первой же книжке «Собеседника», без подписи и под заглавием: «Ода к премудрой киргиз-кайсацкой царевне Фелице („богиня блаженства“, по объяснению поэта), писанная некоторым мурзой, издавна поселившимся в Москве и живущим по делам своим в С.-Петербурге. Переведена с арабского языка 1782 г.». Так думал оградить себя поэт от мести оскорбленных, если бы они случились. К словам «с арабского языка» сделано было редакцией примечание: «хотя имя сочинителя нам не известно, но известно

нам то, что сия ода точно сочинена на российском языке».

Княгиня Дашкова поднесла книгу императрице. Последняя прислала за Дашковой на другое утро, и княгиня застала ее в слезах. По словам Державина, Екатерина спросила Дашкову, кто писал эту оду: «Не опасайтесь, – прибавила она, – я спрашиваю только, кто бы так коротко мог знать меня и умел так приятно описать, что я, видишь, как дура, плачу». Несколько дней спустя за обедом у князя Вяземского Державину подали пакет с надписью: «Из Оренбурга от киргиз-кайсацкой царевны Державину». В пакете оказалась табакерка золотая, осыпанная бриллиантами, и в ней 500 червонцев. «За что бы это?», – спросил князь с неудовольствием. «Не знаю, – отвечал Державин, – разве не за сочиненье ли, которое княгиня напечатала в „Собеседнике“ без моего согласия?» С этого времени, говорит он, между ними начались неудовольствия. В восторге от милости Екатерины Державин рассыпался письменно в благодарности княгине Дашковой, Безбородко, через которого шла награда, и Козодавлеву. Последнему он пишет, между прочим: «Я для Фелицы сделался Рафаэлем. Рафаэль, чтоб лучше изобразить Божество, представил небесное сияние между черных туч. Я добродетели царевны противоположил моим глупостям. Не зная, как обществу покажется такого рода сочинение, какого на русском языке еще не было» и т. д.

Вскоре последовало представление Державина императрице во дворце, в Кавалергардской зале, при многих других лицах. «Богиня на меня воззрела», – говорит поэт в «Видении Мурзы»… Государыня остановилась от него поодаль, несколько раз окинула его быстрым взором от ног до головы и наконец подала ему руку. Ее величественного вида при этом, говорит Державин, он никогда не мог забыть. Под впечатлением минуты он начал стихотворение, которое долго оставалось неоконченным, но потом вылилось в одно из лучших его произведений, а именно в оду «Видение Мурзы». Державину является мечта и говорит, что задачей поэта должна быть не лесть и похвала, но поучение.

Кто ты, богиня или жрица?
Мечту стоящу я спросил.
Она рекла мне: «я – Фелица!»
Рекла и светлый облак скрыл
От глаз моих ненасыщенных
Божественны ея черты.

Впрочем, она же вначале обращается к нему, как будто угрожая, со словами: «Вострепещи, Мурза, несчастный»…

Автор говорит, что Екатерина хотя и разослала вельможам стихи «Фелицы» с отметками, что к кому относится, но делала вид при дворе, будто бы не догадывается, что похвалы Фелице относятся к ней, и удивлялась смелости, с какой ода написана.

Слава Державина как поэта достигла своего апогея с появлением оды «*Бог*» в XIII книжке «Собеседника»; в основе появления этой оды лежали общие причины.

Вопросы религиозно-нравственного и воспитательного характера в то время были сильно распространены и решались в духе века. Духовная поэзия была в большом ходу. Почти у каждого поэта восемнадцатого столетия, не исключая Вольтера, можно было найти одно или несколько стихотворений, посвященных восхвалению величия Божия.

Этому направлению путем невольной подражательности следовали и мы, начиная с Ломоносова и Сумарокова. С тех пор как Державин стал участвовать в журналах, на страницах их нередко являлись стихи подобного содержания. Правда, в то время, когда державинская ода получила у нас широкое распространение, духовные оды в Европе уже доживали свой век, но это было лишь следствием общего явления запоздалости у нас западного влияния.

Ода «Бог» была начата поэтом еще в 1780 году в Светлое Христово воскресение, по возвращении от заутрени, но служба и столичные развлечения долго не давали ему возможности снова приняться за нее. Выйдя в отставку после несогласий с начальством, Державин уединился для окончания оды. Сказав жене, что едет в имение, он остановился в Нарве и там нанял себе на несколько дней у старушки-немки маленькую комнату. Воображение его было сильно разгорячено, судя по рассказу его в «Записках». Не докончив последней строфы, он уснул перед зарей; вдруг ему показалось, что кругом по стенам бегает яркий свет; слезы ручьями полились у него из глаз; он встал и при свете лампады разом написал последнюю строфу. Нет оснований не верить этому рассказу, в котором явно видны черты, характерные для подобных историй, существовавших в средневековой Европе. Бенвенуто Челлини, лежа в темнице на каменном полу, уснул и *видел* Деву Марию. Проснувшись, он взял кусок воску и старался изобразить ее такой, какой она предстала перед ним. Ему казалось невозможным, чтобы она не была такою именно, хотя другие также *видели* ее, и видели опять-таки каждый по-своему.

Державин уверяет, что с детства у него было воспоминание, по которому он считал себя особенно призванным к выполнению этой задачи: мать ему рассказывала, что на другой год после его рождения явилась комета и что, глядя на нее, он произнес первое

свое слово: Бог. Подобные легенды легко создает впоследствии воображение, но тем не менее непосредственность, наивность чувства остаются характерными чертами эпохи. Призвание Державина в данном случае, как показало время, не было исключительным.

Ода забыта; это была не «Мадонна» Рафаэля: не запечатленное на стенах Сикстинской капеллы «Сотворение Мира» Микеланджело, не «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо, словом – не то вечное произведение, где дух и форма сливаются в полной и тесной гармонии, – но успех оды у современников превзошел ожидания самого автора; она производила общий восторг, выучивалась наизусть, перепечатывалась не раз отдельно, переводилась на разные языки и более всех других его произведений содействовала известности его имени даже в Европе. «Действительно, – говорит академик Грот, – беспристрастная критика *не может не признать* за этой одой неотъемлемых достоинств; кроме блестящих картин природы и возвышенных мыслей, она замечательна лирическим одушевлением и искренностью, которые резко отличают ее от большей части произведений этого рода на других языках». Далее по вопросу о том, насколько Державин заимствовал свое произведение у других, он же замечает:

«Оду „Бог“ называли подражанием, но, по нашему мнению, это несправедливо. Правда, в ней есть мысли, встречаемые у Юнга, Галлера, Клопштока; но такого рода бессознательные заимствования или невольные воспоминания есть у всех поэтов и составляют неизбежное последствие их чтений; сущность пьесы заключается в настроении поэта, в общем содержании, в главных мыслях его, а не в некоторых второстепенных чертах, рассеянных в художественном создании».

Взгляд этот явился, конечно, результатом сравнения оды «Бог» с немецкими и итальянскими образцами.

«Нельзя даже сказать, знал ли он их, – говорит Я.К. Грот. – Две, три отдельные мысли могли случайно сойтись, но нет никакого сходства ни в ходе идей, ни в свойстве представлений. Нет тех отвлеченных, математических, а отчасти мистических представлений о кругах и числах, которыми с любовью занимаются немецкие и итальянские поэты».

С другой стороны, давно было замечено сходство некоторых мыслей оды со стихами Юнга. Уже в 1812 году «Вестник Европы» сравнивал ее с «Ночами» последнего.

Первый перевод оды на французский язык принадлежит юноше Жуковскому. Затем стали появляться переводы и на других языках: немецком, итальянском, английском, испанском,

польском, чешском, латинском и даже на японском.

Последний явился случайным следствием плена Головкина (впоследствии адмирала). Однажды, рассказывает он в своих записках, ученые туземцы просили его сказать им русские стихи. Он прочел оду «Бог», и во время чтения они отличали рифмы и находили приятность в звуках. Им захотелось иметь перевод, и, по уверению Головкина, ему удалось перевести и передать смысл содержания так, что они все поняли, кроме стиха: «Без лиц в трех лицах Божества», на объяснении которого они и не настаивали, когда он им сказал, что для понимания этих слов надо быть истинным христианином (?). Далее губернатор просил написать оду кистью на атласе и отправил императору. «Японцы уверяли нас, – говорил Головнин, – что она будет выставлена на стене в его чертогах, наподобие картины». В устном пересказе этого события современники смешали японский язык с китайским, намерение принято было за исполнение, и распространялось уверение, что ода написана золотыми буквами на стене во дворце богдыхана в Пекине наподобие картины.

По словам Головкина, японцам особенно понравилась мысль, выраженная в одной строфе словами: «и цепь существ связал всех мной», причем «они показали, что постоянное шествие природы от самых высоких к самым низким его творениям и им не безызвестно».

Нельзя согласиться с тем, что ода Державина исключала метафизику. Вспомним знаменитое начало:

> О ты, пространством бесконечный,
> Живый в движеньях вещества,
> Теченьем времени Превечный,
> Без лиц в трех лицах Божества.

Державин сам поясняет, что, «кроме богословского православной нашей веры понятия, разумел он тут три лица метафизические, т. е. бесконечное пространство, беспрерывную жизнь в движении вещества и неокончаемое течение времени, которые Бог в себе совмещает».

Державинская ода вызвала множество подражаний, в том числе «Гимн Богу» Дмитриева, «Гимн Непостижимому» Мерзлякова, «Песнь Божеству» Карамзина и другие.

Знаменитый в своем роде одописец граф Хвостов не только сочинил оду «Бог», но ценил ее гораздо выше Державинской, что, как с ним всегда бывало, повело к комическому эпизоду. По дороге в Царское в карете он стал спрашивать секретаря своего, также «поэта», которая ода, по его мнению, лучше. Когда

последний откровенно высказался в пользу Державина, разгневанный самолюбивый автор решил высадить его среди дороги и не хотел ни за что везти дальше.

Рассказ этот, слышанный академиком Я.К. Гротом от «живого» очевидца князя Цертелева, свидетельствует о том, как ревниво в былое время относились к литературе ее хотя бы и бездарные, но страстные любители.

Расцвет литературы и сознание в то же время несовершенства языка, недостатка правил привели к мысли о необходимости основания Российской Академии. При самом учреждении ее в 1783 году Державин, уже знаменитый поэт, был избран в члены и принял участие в организации, в «начертании» плана.

Нельзя отнять у Державина заслуги сближения поэзии с жизнью, помимо сравнительного совершенства формы и языка.

«Превосходный стих Державина, – по замечанию Шелгунова, – делал его таким популяризатором новых идей, которые он из кружка интеллигенции и вельможества проводил в начинавшую читать публику, что воспитательное его значение было, конечно, гораздо больше, чем в первой половине XIX века воспитательное значение Пушкина».

Я.К. Грот со своей стороны, определяя значение Державина для его времени, замечает, что он вполне удовлетворял тогдашним эстетическим требованиям. «Таким образом, он бесспорно отвечал потребностям своего времени, и вот в чем, может быть, заключалась одна из главных причин его успеха».

Глава IV
Служебная и литературная деятельность при Екатерине

В жизни Державина важнейшие моменты литературной деятельности и служебной карьеры находятся всегда в некоторой связи. Менее чем через месяц после выхода книжки «Собеседника» с одою «Бог» Державин был назначен правителем Олонецкого наместничества. Возвышению Державина содействовала «Фелица», но кроме того, что Екатерина не желала прямо выказать это, князь Вяземский задерживал доклад об увольнении нашего поэта с сенатской службы. Назначение состоялось, таким образом, только в 1784 году.

Державин давно мечтал о губернаторстве, особенно на своей родине, но это не удалось ему ни теперь, ни впоследствии. Олонецкое наместничество пока существовало только на бумаге. Екатерину с самого вступления на престол занимало дело преобразования губернского управления. При ее воцарении губерний было 16 – число, не соответствовавшее обширности государства. Она издала «учреждение о губерниях», по плану которого на каждую полагалось от 300 до 400 тысяч душ, вследствие чего количество губерний увеличилось до сорока. Крым составил особую область. В каждой губернии должен был находиться государев *наместник*, или *генерал-губернатор*, и подчиненный ему *правитель* наместничества, или *губернатор*, на которого и возлагалась вся ответственность по управлению. Этот план организации нашел своего рода «поэтическое» изображение в стихах у Державина:

Престол ея на Скандинавских,
Камчатских и златых горах,
От стран Таймурских до Кубанских
Поставь на *сорок двух столпах.*

В то же время сделана была попытка внести свет в лабиринт старых воеводских и прочих учреждений («Тебе единой лишь пристойно, царевна, свет из тьмы творить»), в особенности отделением судебной власти от административной. Недостатком новой организации являлась, между прочим, неточность пределов власти новых чинов. Генерал-губернаторы, облеченные полным доверием государыни, могли руководствоваться одним

произволом и быть сами себе законом. Они пользовались почти царскими почестями, им были подчинены войска; при выездах они сопровождались отрядом легкой конницы, адъютантами и молодыми дворянами, из которых под их руководством «должны были образоваться полезные слуги государства».

«На пышных карточных престолах сидят мишурные цари», – говорит Державин в оде «На счастье», разумея наместников, которые хотя и зависели от мановения императрицы, но чрезвычайно дурачились, великолепно восседая на тронах, когда допускали к себе при открытии губерний народных депутатов и выборных судей…

Назначение Державина состоялось 22 мая 1784 года, и указом того же дня Петрозаводск был сделан губернским городом. Там уже находились и присутственные места, переведенные из Олонца, находились, по-видимому, в плачевном виде, потому что Державин по приезде туда меблировал их даже «на свой счет». Петрозаводск населяли купцы, мещане и разночинцы, всех жителей считалось в нем около трех тысяч. Олонецкая губерния по своему тогдашнему населению (206 тысяч жителей) составляла только две трети определенной для губернии меры, но обширное пространство в 136 тысяч квадратных верст давало ей право на отдельное существование.

Прибыв в город, Державин занял небольшой одноэтажный дом в конце Английской улицы, названной так потому, что на ней жили выписанные из Англии для известного пушечно-литейного завода мастера. «Открытие губернии» продолжалось целую неделю и сопровождалось речами генерал-губернатора Тутолмина и пиршествами у него же, пушечной пальбой и угощением народа на площади.

Сначала наместник и губернатор жили между собой дружно и проводили друг у друга вечера, но это согласие было непродолжительно. Скоро Тутолмин уже называет Державина в письме в Петербург «изрядным стихотворцем, но плохим губернатором». Последнее едва ли было справедливо. Державин несомненно мог быть прекрасным исполнителем «начертаний», обладая прежде всего недюжинным умом и энергией. Причина несогласий заключалась в неуживчивости его характера, наклонности переходить пределы своей власти, в стремлении выставить на первый план себя и свои заслуги. Державин со своей стороны не без оснований обвинял Тутолмина в самовластии, в желании придать своим предложениям силу указов, обезличить суд и палаты. До каких мелочей и личных счетов доходили неудовольствия между двумя сановниками, свидетельствует письмо Державина ко Львову. Тутолмин стал показывать

Державину свое превосходство и требовать субординации. Державин пишет, что при осмотре присутственных мест встретил и принял начальника, как следует в правлении, и, несмотря на прежние несогласия и придирки, не выказал никакого неудовольствия и проводил затем в совестный суд.[7]

> «Тут он бранью, непристойною судей (?), безвинно сделал мне много огорченья, но я и после того вышел за ним в сени, хотел провожать его по судам; но он надел с неучтивостью и раздражением шапку, пошел в карету и не пригласил меня; а как у меня кареты не было, то я и возвратился в Правление, за непристойное почтя бегать за ним пешком, а паче быть свидетелем его ругательств судьям, на счет мой относящихся. Не взирая на сие, ввечеру мы с Катериной Яковлевной поехали к нему…»

Очевидно раздраженный многим предыдущим, Тутолмин не пощадил Державина и в своем доме. Насколько кто был прав, трудно судить. Насколько же можно судить со слов самого Державина, незаметно, чтобы он выказал особую независимость и достоинство в чисто личных отношениях с Тутолминым. На другое утро после ревизии Тутолмин уехал в Петербург, а вслед за ним с нарочным, экзекутором губернского правления Н.Ф. Эминым, преданным губернатору, последний отправил «донесение» императрице, вложенное в письмо на имя Безбородко, с особой просьбой о заступничестве. Что было в «донесении», в точности неизвестно. Ходили слухи, что Тутолмин был призван особо по этому поводу во дворец и просил на коленях милости в кабинете императрицы. С другой стороны, рассказывали, что Екатерина отозвалась о неосновательности донесения и заметила, что не нашла в бумаге этой ничего, кроме поэзии. Приписывали Тутолмину даже ходатайство о пожаловании Державину ордена. Донесение Державина явилось результатом ревизии, которую он произвел тотчас по отъезде Тутолмина в присутственных местах, находившихся в исключительном ведении наместника. Мера была отчаянная. Державин нашел в делах «великое неустройство, и всякого рода отступления от законов». Документы ревизии Державин отправил Тутолмину при рапорте, в котором не скрыл от него, что вместе с тем обо всем донес императрице. Все кончилось к общему пока удовольствию. Екатерина нашла удобным поверить объяснениям Тутолмина и в то же время оставить на месте Державина в качестве недремлющего ока.

Оставаясь на службе после ссоры с всесильным наместником, Державин мог только выиграть в своем влиянии и положении.

Борьба, однако, была неравная. Пререкания возрастали. Враги Державина легко пользовались его слабостями. Распространился слух, что Державин побил одного советника правления. Едва ли можно быть уверенным в том, что этого не было. Казанский губернатор, по словам Державина, не успел в хлопотах об ордене, потому что «трактовал почтмейстера пощечинами»; почему не мог рассердиться и олонецкий?

В историю олонецкого губернаторства Державина входит эпизод, достойный кисти Гоголя. В губернаторском доме жил ручной медвежонок. Однажды он, следом за одним из приходивших туда чиновников, Молчиным, зашел в суд. Может быть, последний нарочно устроил шутку. Присутствия в тот день не было. Войдя в комнату, Молчин шутя предложил находившимся там заседателям идти навстречу новому члену Михаилу Ивановичу, а затем вышел и впустил медвежонка. Враждебная Державину партия воспользовалась этим. В появлении губернаторского зверя усмотрено было неуважение к судебному месту, сторож выгнал его палкой, и приверженцы Державина в свою очередь увидели в этом неуважение к самому губернатору. Дело раздули до того, что оно восходило к Сенату, который наконец оставил жалобу Тутолмина на неправильные действия Державина по поводу этого дела без последствий. Князь Вяземский, впрочем, говорил в общем собрании Сената: «Вот, милостивцы, как действует наш умница-стихотворец; он делает медведей председателями».

В «Наказе» вменено было в обязанность губернаторам объезжать губернию и составлять описание ее. В Олонецкой губернии путешествие этого рода связано было со многими лишениями и препятствиями. Тем не менее по поручению Тутолмина Державин совершил объезд водою, побывал в городе Пудоже, недавно «открытом» самим наместником, и в свою очередь «открыл» город Кемь. Само собой, что это учреждение городов было исключительно делом бумажного производства, если не считать водосвятия, пирогов и речей. Ни присутственных мест, ни помещений для них, ни людей негде было взять. Впрочем, донесения и описания Державина во многом заслуживали внимания, обнаруживая усердие, наблюдательность и здравый смысл. Конечно, Державин не упускал случая критиковать действия наместника, и, хотя в основании такой критики лежало личное неудовольствие, замечания его были часто основательны. Так, он опровергает мнение Тутолмина о «предосудительных свойствах обитателей страны, наклонности к обиде, обманам и вероломству».

Державин очень метко замечает, что если бы они были

таковы, «то не работали бы вечно у своих заимодавцев за долг, имея на своей стороне законы, не упражнялись бы в промыслах, требующих нередко устойки и верности уговору, не были бы послушны и терпеливы в случае притеснений и грабительств, чинимых им от старост и прочих начальств и судов, в глухой сей и отдаленной стороне бесстрашно прежде на всякие наглости поступавших. Нравы не сварливые и довольно мирные явственны мне стали из того, что при случае повеления экономии директора отнимать пахотные земли, они хотя с ропотом и негодованием, но были довольно смирны при таком обстоятельстве, при каковом в других губерниях без убийств и большого зла дело не обошлось бы» и т. д.

Тутолмин докладывал, что вообще во всех уездах несравненно более зажиточных, нежели бедных поселян. Державин, возражая, говорит, что в зажиточности и причина, что так много бедных.

«Они, нажив достаточек подрядом или каким другим образом, раздают оный в безбожный процент, кабалят долгами почти в вечную работу себе бедных заемщиков, а через то усиливаются и богатеют более, нежели где внутри России, ибо, при недостатке хлеба и прочих к пропитанию нужных вещей, прибегнуть не к кому, как к богачу, в ближнем селении живущему. Сие злоупотребление нужно *кажется* пресечь».

Так рисует поэт-гражданин исконное бедствие русского народа во всей его наготе. Нельзя не подивиться, как мог он, насмотревшись на эту картину, относиться потом почти презрительно к стремлениям идеалистов того времени в лице Радищева, а затем к освободительным идеям Александра I и его сподвижников.

По возвращении в Петрозаводск раздоры вспыхнули с новой силой. Наконец Державин, под предлогом обозрения еще двух уездов, выехал снова и отправился в Петербург, где благодаря ходатайству друзей, покровительству вельмож и вниманию Екатерины к автору «Фелицы» вскоре добился указа о переводе его губернатором в Тамбов.

В числе ходатаев за Державина кроме прежних его покровителей встречаем Ермолова, временного фаворита императрицы, не успевшего, однако, подорвать престиж Потемкина. В своих «Записках» Державин говорит, что он обещал купить Ермолову в Тамбовской губернии рысистую лошадь и впоследствии обещание это исполнил, *но переслать лошадь до падения Ермолова не успел*. Точно так же «опоздало» и извещение Гаврилы Романовича о том, что по желанию фаворита приискана ему для покупки деревня близ Тамбова.

На переезд в Тамбов пришлось употребить целый месяц с остановками и хлебосольными приемами в Москве и Рязани, где было местопребывание самого наместника Гудовича.

Тамбов, хотя втрое значительнее по числу жителей, разумеется, мало разнился благоустройством от Петрозаводска. Казенные здания походили на развалины. Места присутственные, по словам Державина, «не токмо самые бедные и тесные хижины, но и весьма ветхи. По улицам в дождливое время не было проезда, местами и скот, и люди утопали в грязи».

Державин скоро освоился с новым положением. Уже одно то, что наместник не жил в Тамбове, было выгодно для губернатора. Здесь не мозолили ему глаза пышность и надменность Тутолмина, и Державин являлся в городе первым лицом. Пределы власти тоже обозначались явственнее, не контролировался каждый шаг. «Совершенный теперь губернатор, а не пономарь», – писала Катерина Яковлевна семье Капнистов. Сам Державин говорил, что воскрес душой и телом. Кроме всего, и дом здесь был лучше, и хозяйство дешевле и богаче.

Скоро Гудович побывал в Тамбове и провел там неделю. Он встречен был «с нелицемерною от всех радостью», писал Державин графу Воронцову. Наместник и губернатор очаровали друг друга любезностью. Случилось так, что с приездом Гудовича совпал праздник восшествия на престол. Державин приготовил в честь гостя – представителя престола – особо написанную им театральную пьесу.

Гудович, конечно, был крайне доволен всем этим и со своей стороны, уезжая, предоставил Державину всяческие полномочия по службе. Новый губернатор прежде всего занялся городом и перестройкой зданий. Особенно хотелось ему устроить дом общественных собраний, клуб, или, по тогдашнему, «редут», и этим повлиять на развитие общественной жизни и интересов в духе просветительных идей Екатерины. В ожидании клуба Державин устраивал в своем доме вечерние собрания, танцы и музыку. У себя же он открыл для детей местных дворян школу, где обучали грамоте, арифметике и танцам. Последнее искусство считалось в то время едва ли не самым полезным и, может быть, действительно имело немалое воспитательное значение, заменяя собой более грубые, часто дикие развлечения недорослей.

Немалой заботой для Державина было также устройство театра в городе. Гудович определил ему тысячу рублей ассигнациями на устройство и столько же ежегодно на содержание. В доме своем давал он любительские спектакли и поставил «Недоросля».

Новый губернатор зажил на широкую ногу и сделал дом свой

центром местного дворянства. Львов в письмах к поэту-губернатору удивлялся его расточительности и осведомлялся об источнике расходов, зная «невеликие» средства Державина.

Поле деятельности открывалось обширное. Суды, губернские тюрьмы, дороги, казенные сборы – все находилось в первобытном состоянии, или же, подобно училищам и многим другим учреждениям, введенным указами, числилось только на бумаге. Ужасное состояние тюрем вынудило Державина принять немедленно кой-какие меры. Описание мест заключения в его записке не лишено картинности, вызывающей ужас. Замечания Державина о мерах по ускорению производства дел и о характере правосудия заслуживали бы внимания современников. Представляя рапорт о несправедливом решении одного дела, Державин говорит, между прочим: «Замечаю я, что обвиняются здесь всегда малые чины, а большие, как из дел сих увидеть изволите, оправдываются».

Немалую заботу для губернатора составляло с самого начала приискание приказных служителей, секретарей и копиистов. Общим пороком всей этой мелкой сошки, какую только можно было раздобыть в Москве, являлось пьянство и, само собой, взяточничество. Но с последним охотно мирились.

Трудно было найти исполнителей закона, но на поверку оказывалось, что еще труднее найти самые законы в печатном виде. О присылке их Державин тщетно просил одного московского приятеля и родственника. Последний мог выслать только адмиралтейский регламент и полковничью инструкцию, объясняя при этом, что других законов в продаже не отыскалось, а так как они более не печатаются, то и впредь не предвидится исполнить его желание.

Одною из мер, принятых Державиным для сокращения производства дел, было учреждение в Тамбове типографии.

Если трудно было найти приличных канцелярских служителей, то и наборщиков – не менее того. Державин обратился за содействием к типографской компании и вступил таким образом в переписку с Новиковым. Последний, конечно, охотно принял участие в излюбленном им деле и помог Державину приобрести все нужное. Зимним путем предметы были пересланы в Тамбов, и в начале 1788 года типография открыла свою деятельность. В типографии стали печататься сенатские указы, публикации, сведения о ценах на хлеб и так далее. Для собирания материалов учрежден был особый стол. Статьи, подлежавшие оглашению, печатались по субботам и воскресеньям, посылались городничему и в нижний земский суд для всеобщего сведения, а затем прибивались к стенам в церквах,

на базарах и ярмарках. Таким образом, заведено было нечто вроде будущих губернских ведомостей, официально установленных в царствование Николая. Кроме официальных бумаг в тамбовской типографии стали печататься и «литературные труды» тамбовских дам – переводы романов.

Мысль о типографии принадлежала лично Державину; открытие же народных училищ являлось исполнением «начертаний» Екатерины. Известно, что она много рассуждала о мерах по образованию народа, переписывалась об этом с энциклопедистами и германскими учеными, беседовала с императором австрийским и выписывала сведущих иностранцев для совещаний и разработки плана.

В «Учреждении о губерниях», обнародованном 7 ноября 1775 года, «попечение об установлении и прочном основании народных школ» возложено было на вновь образованные приказы общественного призрения. Они обязаны были заводить училища сначала во всех городах, а потом и в многолюдных селениях для всех, кто добровольно пожелает учиться.

Но при совершенном недостатке учителей и учебных пособий от названных приказов в первое время нельзя было ожидать успешной деятельности.

В Тамбове, как и по всей Руси, не было учебных заведений, кроме жалкой гарнизонной школы и духовной семинарии. По указу Екатерины, данному в Царском Селе на имя Гудовича, открытие училищ в наместничестве Рязанском и Тамбовском должно было совершиться, как и в прочих губерниях, 22 сентября, в день коронации государыни. Гудович поспешил, конечно, передать распоряжение Державину, поручая ему приготовить училищный дом и отписать о том же городничим городов Козлова и Лебедяни.

Званием директора всех училищ заранее облечен был в Петербурге известный Козодавлев. Он отправил к Державину двух учителей с письмами. «Вручители сего, – писал он, – суть люди, имеющие под руководством вашего превосходительства распространять просвещение в Тамбовской губернии»; далее Козодавлев серьезно излагает план и организацию предполагаемых училищ. В Тамбове, по крайней мере, все состоялось, как по писаному. Правда, училищный дом представлял собой негодную развалину, великодушно уступленную местным богатым откупщиком купцом Ионою Бородиным за 300 рублей в год. Материалов для исправления дома тоже не было, но казенная палата выручила губернатора, отпустив заимообразно доски, кирпич и известь. В три недели все было готово. Не было только учителей и учеников. Последних

взяли тоже «заимообразно» – из гарнизонной школы.

Открытие произошло торжественно, при пушечной пальбе.

В честь открытия училища губернатор устроил у себя театральное представление. Избрана была с нравоучительной целью комедия «Так и должно» Веревкина, направленная против подьячих. Ей предшествовал пролог, написанный Державиным, аллегорического содержания. Дремучий лес означал малообразованное дворянство; просвещение являлось в виде Гения; Талия и Мельпомена олицетворяли театр. Гений приглашает их на помощь делу Петра и Екатерины.

Более или менее торжественно открыты были затем малые училища в других городах губернии: в Козлове, Шацке, Моршанске. Существование их ничем не было обеспечено. Местное общество не желало оказывать им поддержку и относилось прямо враждебно к делу. Несмотря на строгие и красноречивые внушения Державина смотрителям и городским головам «прилагать всевозможное старание о развитии заведений *на основании городового положения*», учителя не получали жалованья, а купцы и мещане не отдавали детей. Мало-помалу одни училища были закрыты, другие как-то сами собой исчезли, и вся блестящая феерия потонула в густом мраке далеко не аллегорического леса; энергия Державина получила, однако, воздаяние. Граф А.Р. Воронцов и сенатор А.В. Нарышкин получили назначение ревизовать губернии, в том числе и Тамбовскую. Здесь они остались довольны всем и в рапорте Екатерине писали, что попечение и прилежание правителя губернии Державина делает ему честь. «Живо и сердечно порадовался я, – пишет Державину петербургский приятель Васильев, – что Вы так удачно сенаторов спустили». Впрочем, граф Воронцов еще из столицы писал Державину о ревизии, обещая из Рязани точно уведомить о времени прибытия в Тамбов и предлагая приготовить присутственные места для освидетельствования.

Между тем на мирные отношения Державина к Гудовичу стали набегать тени. Возникли несогласия. В то же время в Петербурге стали ходить слухи о «крутых» мерах Державина в известных случаях, пристрастии и произволе.

Особенно повредило ему дело капитана Сатина. По просьбе некоторых заинтересованных лиц Державин стал «чинить» розыски, превышая свою власть, и определил взять имение жены Сатина в опеку на основании не свидетельских даже показаний о Сатине, а только сдержанности их, находя, что «молчание выражает больше, нежели все разговоры».

При всем расположении к Державину даже граф Воронцов не

мог одобрить его распоряжений и на этот раз на просьбу принять его сторону ответил письмом, напоминающим наставление, данное некогда неугомонному поэту графом Паниным. Воронцов, выражаясь очень мягко, замечает, что меры Державина невольно заставляют подозревать его в пристрастии к одной стороне, не говоря уже о том, что совершенно не входят в компетенцию губернатора, и «если во внутреннее хозяйство и подробности сожития мужа с женой будут таким образом начальники вмешиваться, то выйдут произвольные инквизиции, отнюдь не сходные с образом мыслей государыни». Далее, манифест ее истолкован превратно: молчание свидетелей может служить к оправданию, а не к обвинению. Наконец поведением Державина нарушается личная безопасность и спокойствие каждого. Граф Воронцов выражает дружески свое удовольствие в том, что Гудович остановил решение Державина, так как он сам, в случае, если бы дело дошло до Петербурга, должен был бы ходатайствовать против Державина, конечно, не лично для Сатина, но «дабы упредить, чтобы впредь правления, губернаторы и генерал-губернаторы не присваивали себе того, что им не дано».

К этому делу присоединились другие неприятности того же рода и личные счеты Державина с людьми, близкими к Гудовичу. Наконец, надеясь на покровительство всемощного Потемкина, Державин распорядился выдать комиссионеру его по закупке провианта для армии значительную сумму из казенной палаты, не спросив согласия Гудовича, и в ответ на отказ палаты (за неимением средств) произвел ревизию, опять превысив свою власть и вторгаясь в область ведения одного наместника. Мера эта вызвала удивление и негодование самого Гудовича. Примирение становилось невозможным.

Обе стороны обратились в Сенат: Державин – с рапортом о найденных им беспорядках и упущениях; палата – с жалобой на притеснение со стороны губернатора.

Гудович между тем частным образом писал Воронцову, прося избавить его от ретивого сослуживца, который, пишет он, «вступил с рапортом в Сенат мимо меня, переписывается с другими губерниями и вошел в мою должность, *как бы меня и не было*».

Любопытно, что Сенат еще до получения объяснений Гудовича нашел, что Державин самовластно распорядился такими доходами, которые без разрешения генерал-прокурора запрещено было расходовать, и в указе Сената определено сделать выговор Державину, о чем тогда же сообщено наместнику. Сенат оставил без внимания довольно странное объяснение Державина,

считавшего действия свои будто бы необходимыми для спасения армии Потемкина и, следовательно, отечества от гибели. Даже друзья Державина не одобряли его поведения. Васильев писал ему: «не выдавала казенная палата денег, она бы и отвечала» и т. д. Тем более некстати была ревизия без явных причин к подозрению, «а когда его нет, то каково же целую палату бесчестить?»

В довершение бедствий Державина жена его поссорилась с женой председателя палаты, толкнула ее будто бы опахалом, и дело раздуто было, насколько возможно, местными сплетнями. Враждебная губернатору партия воспользовалась этим. Составилось целое совещание, и подана была письменная жалоба самой императрице. Стали винить Державина и в лихоимстве.

Со своей стороны он просил позволения явиться в Петербург для личного оправдания и разослал письма Потемкину, Воронцову, Безбородко и всем своим друзьям и покровителям. Между тем во время пребывания Гудовича в Тамбове Державин, взамен прежних любезностей, выказал такую запальчивость и раздражение, что Гудович в своем рапорте Сенату жаловался на нарушение губернатором тишины и спокойствия. В ответ на требование от него Сенатом объяснений Державин, *не объявляя этого указа в правлении*, приказал секретарям изготовить справки обо всех этих обстоятельствах будто бы по другой надобности. Справки были представлены, и Державин предъявил их Сенату, но Гудович, узнав обо всем, доносил Сенату и просил немедленно отрешить губернатора от должности за подобные противозаконные поступки. Друзья Державина приходили в отчаянье, видя, что он вредит себе и делает невозможным держать его сторону. Сенат действительно представил императрице мнение об отрешении Державина от должности и предании суду.

С этой минуты Гудович, находясь в Тамбове, игнорировал Державина, не давая ему, однако, поводов к ссоре, подобно Тутолмину. Наконец именным указом Державин отдан был под суд, и велено было обязать его подпиской о невыезде из Москвы до окончания дела.

Державин явился в Москву, не теряя присутствия духа. Главной его заботой теперь было добиться личной аудиенции у императрицы. Это удалось ему в конце концов, вероятно, благодаря Потемкину. Влиянию последнего обязан, по-видимому, Державин и снисходительностью Сената. Все заключения были ему благоприятны. Правда, поведение Державина Сенат признавал оскорбительным для Гудовича, но так как, согласно просьбе последнего, губернатор был уже отрешен от должности,

то Гудович и мог этим удовлетвориться. Кроме личных счетов, по мнению Сената, действия Державина не принесли вреда ни частным лицам, ни казенному интересу, а потому Сенат предает все дело всемилостивейшему благоволению императрицы. Уменье Державина пользоваться лицами и обстоятельствами взяло перевес надо всем, и самонадеянность его была так велика, что он же жаловался на это решение Сената, признававшее его все-таки оскорбителем Гудовича.

В Петербурге ждал Державина полный успех. Екатерина одобрила доклад Сената, велела секретарю подать себе оду «Фелица». «Приказано сказать Державину, – пишет в дневнике своем Храповицкий, – что доклад и просьба его читаны, и что Ее Величеству трудно обвинить автора оды к Фелице: cela le consolera (это его утешит). Донес о благодарности Державина, – on peut lui trouver une place (можно найти ему место)». Несколько дней спустя Державин представлялся Екатерине в Царском Селе; она приняла его милостиво, дала поцеловать руку и оставила к обеду. Державин уверяет даже, будто она сказала при этом окружающим: «Это мой собственный автор, которого притесняли». Недовольный, однако, неопределенностью положения, он написал ей письмо, в котором обращался с просьбой о назначении ему жалованья впредь до определения на службу и, кроме того, испрашивал аудиенции для объяснения по делам губернии. Екатерина исполнила то и другое.

Державин повез в Царское всю переписку по делу с Гудовичем, но, к счастью, догадался оставить ее в соседней комнате, входя в кабинет. Государыня, дав ему поцеловать руку, спросила: «какую он имеет до нее нужду». Он отвечал, что желает благодарить ее за оказанное ему правосудие и объяснить свою невинность.

– Но не имеете ли вы в нраве чего-нибудь строптивого, что ни с кем не уживаетесь? – спрашивала Екатерина.

– Я начал службу простым солдатом и сам собою возвысился и т. д.

– Но отчего же вы не поладили с Тутолминым?

– Он издал свои законы, а я привык исполнять только ваши.

– Отчего вы разошлись с Вяземским?

– Ему не понравилась моя ода Фелице, он начал осмеивать и притеснять меня.

– А какая причина вашей ссоры с Гудовичем?

– Он не соблюдал ваших интересов, в доказательство могу представить целую книгу.

– Хорошо, – сказала она, – после.

По свидетельству Храповицкого, Екатерина так отозвалась

потом об этом разговоре: «Я ему сказала, что чин чина почитает. В третьем месте не мог удержаться; надобно искать причины в себе самом. Он горячился и при мне. Пусть пишет стихи. Он, кажется, не очень мной остался доволен». Жалованье велено было ему выдавать, но места ждать пришлось ему около двух с половиною лет.

Старые счеты Державина по службе этим еще не вполне кончились. На него наложен был штраф в 17 тысяч рублей за то, что он подверг аресту имение купца Бородина. Державин всех старался уверить, что в Сенате не могут быть к нему справедливы, и просил императрицу снять с него арест помимо Сената. Не дождавшись решения, он подал новую просьбу Екатерине: так как в Сенате дело будет докладываться по «неизвестной ему записке», то для наблюдения, все ли изложено, дозволить ему присутствовать в Сенате при слушании дела и к нему руку приложить. На подлинной просьбе, напоминающей наивностью сказку о золотой рыбке, отмечено: «отказано 2 ноября 1789 года». Взыскание с Державина, по-видимому, было сложено своим чередом.

Два с половиною года Державин, по его выражению, «шатался по площади, проживая в Петербурге без всякого дела». В это время он написал «Водопад» и еще несколько крупных и много мелких стихотворений, не считая, очевидно, «делом» литературный труд. Понятно, почему и на стихах его лежит печать исканий и ласкательства. В одном из первых стихотворений этого периода («Праведный судья») поэт излагает свой символ веры как гражданина: сторониться дурных людей и врагов, исполнять честно долг и т. п. В этом и других стихотворениях Державин не столько следовал лирическим порывам души, сколько искал случая обратить на себя и свои гражданские идеалы внимание высших лиц. Потому, вероятно, написав оду «Философы, пьяный и трезвый», где идеалом благополучия названы не богатство, слава и чины, а здоровье, спокойствие и умеренное довольство, Державин поясняет, что ода эта написана *без всякой цели*.

Сатирическое осмеяние личных врагов чаще всего оживляло его лиру. Влекомый от поэзии службой и распрями, он еще в Петрозаводске сочинил, однако, оду «Уповающему на свою силу», где вооружает небо на свою защиту и уничтожение Тутолмина. «Господь, – говорит он, – праведным дает покров, надменных власть уничтожает и грешных низвергает в ров». Впоследствии прибавлена сюда виньетка; она изображает, как гром разбивает пирамиду, а пастух, сидя под деревом, спокойно смотрит на это зрелище. В оде «На счастье» – «от божеской десницы гудок гудит

на тон скрыпицы» – явный намек на Гудовича, которого Державин называет в «Записках» человеком ума посредственного, но вознесенным счастьем. Счастье вообще уподобляется в этой оде воздушному шару тем, что падает, куда случится. Сравнение напрашивалось потому, что как раз незадолго перед тем сделан был первый публичный опыт воздухоплавания в Версале, – и вот, обращаясь к счастью, поэт говорит: «но ах! Как некая ты сфера, иль легкий шар Монгольфиера, блистая, в воздухе летишь». Под счастьем иначе разумел он *случай*. Известно, что выражение *попасть в случай* целый век еще оставалось в силе, означая успех фаворита и его клевретов. Счастье может и «раба творить владыкой мира». В пояснение шуточного тона оды поэт поставил в заглавии слова: «писано на маслянице». По обыкновению, у Державина философская тема переплетена с сатирическими выходками и политическими намеками. Кстати поэт возносит Потемкина:

В те дни, как всюду скороходом
Пред русским ты бежишь народом
И лавры рвешь ему зимой,[8]
Стамбулу бороду ерошишь,
На Таврe едешь чехардой,[9]
Задать Стокгольму перцу хочешь,
Берлину фабришь ты усы,
А Темзу в фижмы наряжаешь,
Хохол Варшаве раздуваешь,
Коптишь голландцам колбасы и т. д.

Екатерине и другим особам были вполне понятны эти намеки, и их умели ценить в то время. Моды и нравы также нашли здесь шуточное изображение, иногда как отголосок сочинений самой Екатерины. Поэт не совсем доволен модным подражанием иностранцам, «вкусы и нравы распестрились, – говорит он, – весь мир стал полосатый фрак».

Главной темой остается, однако, счастье, или случай, и рисунок изображает, как счастье едет по воздуху на мыльном пузыре и машет волшебной ширинкой.[10]

На второй год «безделья» Державина случай помог ему обратить на себя внимание. Подвиг взятия Измаила затмил даже Очаков. Ода имела огромный успех. Державин получил от императрицы табакерку, осыпанную бриллиантами, ценою в две тысячи рублей и, по словам его, был принимаем при дворе еще милостивее. Государыня, увидев его в первый раз по напечатании сочинения, подошла к нему с улыбкой и сказала: «Я не знала по

сие время, что труба ваша столь же громка, как и лира приятна».

Картинка, нарисованная впоследствии Олениным к этой оде, представляла огнедышащий Везувий, против которого идет бесстрашно с примкнутым штыком русский гренадер, оставляя за спиной поваленные им геркулесовы столпы. Картинка эта пропала в Англии, когда Державин думал заказать там гравировку, и поэт предполагает, что там ее уничтожили «из зависти к славе российской». Любопытно, что в оде после описания торжества победы высказывается мечта о вечном мире и сомнении в возможности последнего. В самом деле, незадолго перед появлением оды явилось сочинение Сен-Пьера, предлагавшее проект всеобщего разоружения, и сочинение это переведено было на русский язык в стане Потемкина перед Очаковым. Но идея эта мало отвечала честолюбивым замыслам Екатерины.

Оды Державина создали ему крупную известность, которая превратилась в настоящую славу с появлением «*Водопада*». После описанного нами блестящего праздника в 1791 году, воспетого Державиным, Потемкин оставил Петербург, чтобы больше сюда не вернуться. На берегах Прута его ожидала смерть. Весть о ней внушила Державину одно из самых оригинальных и смелых его произведений. Белинский, называя эту оду одним из блистательнейших произведений поэта, заметил, однако, что в формировании концепции ее участвовала не одна фантазия, но и холодный рассудок. Доказательства тому всякий сам найдет в ее длинноте и риторичности.

Многие стали искать знакомства с поэтом; в числе их – Дмитриев, а затем и Карамзин. Первый рассказывает, что сперва только с чувством глубокого удовольствия и уважения смотрел на него издали во дворце. Вскоре посчастливилось ему свести знакомство через Львова. Еще непризнанный поэт в сопровождении Львова отправился наконец по приглашению самого Державина, с которым хотел и робел познакомиться, к нему на дом.

«Мы застали, – говорит он, – хозяина и хозяйку в авторовом кабинете: в колпаке и атласном голубом халате, он что-то писал на высоком налое; а она, в утреннем белом платье, сидела в креслах посреди комнаты, и парикмахер завивал ей волосы. Добросердечный вид и приветливость обоих с первых слов ободрили меня. Поговорив несколько минут о словесности, о войне и пр., я хотел, соблюдая приличие, откланяться, но оба они стали унимать меня к обеду. После кофия я опять поднялся и еще упрошен был до чая. Таким образом с первого посещения я просидел у них весь день, а через две недели уже сделался

коротким знакомцем в доме. И с того времени редко проходил день, чтоб я не виделся с этой любезной и незабвенной четой».

Дружба между ними установилась на всю жизнь.

Карамзин познакомился с Державиным после возвращения своего из-за границы; он ехал в Москву с мыслью основать журнал и радовался полученному от «певца мудрой Фелицы» согласию принять участие в издании. Державин в самом деле стал одним из самых усердных сотрудников возникшего «Московского журнала». «Водопад» Карамзину не удалось напечатать. Ода была окончена не раньше 1794 года. До тех пор она, по свидетельству Болотова, «носилась в народе» рукописною.

Благосклонность Потемкина не могла приблизить Державина к Екатерине. Последний успел кстати заручиться милостью нового фаворита Платона Зубова. О сближении этом он рассказывает «с простодушием, которое делает честь его правдивости». Несколько раз, говорит он, придворные лакеи не допускали его до молодого счастливца, и ему не оставалось другого средства победить препятствия, как «прибегнуть к своему таланту». Средство оказалось действительным. Это было длиннейшее из всех его лирических произведений – «Изображение Фелицы», рукопись была представлена Зубову ко дню коронации. Государыня, прочитав ее, приказала любимцу «пригласить автора к нему ужинать и всегда принимать в свою беседу». С этого времени Державин часто стал бывать у Зубова, и одна эта близость обеспечивала ему вес при дворе и в глазах общества. Неизвестно, насколько Зубов интересовался литературой, но интимная близость к Екатерине обязывала его пристраститься к ней. Екатерина писала Гримму: «Хотите ли знать, чем мы прошлое лето в часы досуга занимались с Зубовым в Царском Селе, при громе пушек? мы переводили по-русски том Плутарха. Это доставляло нам счастие и спокойствие посреди шума; он кроме того читал Полибия».

Державина, однако, не удовлетворяло его положение при дворе. Он искал прямого назначения. Императрица, по-видимому, ни на чем не могла остановиться, зная его неуживчивый характер.

Удачная мысль осенила было голову княгини Дашковой. Она советовала Екатерине взять Державина «для описания славных дел ее царствования». Но так как княгиня шумно разглашала свою мысль, то это, вероятно, и помешало его определению.

Однако певец Фелицы не мог остаться без награды. Ода яркими красками изображала ее деяния, мудрость и даже самоотвержение. Для спасения людей, говорит наш поэт, императрица бесстрашно принимает яд. Державин сам заметил, что без пояснений многие его не поймут. Обращаясь к этим

пояснениям, мы узнаем, что поэт разумел здесь отважный опыт государыни по прививке оспы. В самом деле, Екатерина выписала из Англии врача, который привил в первый раз в России оспу ей и наследнику престола. Затем «во всех губерниях были устроены оспенные дома». Судя, впрочем, по успеху в открытии школ, едва ли много было там работы. Во всяком случае почин был сделан действительно ею.

Некоторое время Зубов, однако, мало обращал внимания на Державина, давая ему иногда только отдельные поручения. Между прочим, Державин должен был однажды изложить свои соображения о том, как бы без отягощения народа увеличить государственные доходы (!).

По-видимому, фаворит задумал отличиться перед монархиней особой государственной заслугой при помощи практичного поэта.

Наконец Державину дано было поручение, в котором он мог видеть знак доверия Екатерины. Ему предстояло рассмотреть претензии венецианского посланника Моцениго к придворному банкиру Сутерланду. В то же время пришло известие о смерти Потемкина, а вскоре затем, 13 декабря 1791 года, последовал указ Сенату: «Всемилостивейше повелеваем д. с. с. Гавриилу Державину быть при нас у принятия прошений».

Таким образом не только исполнилось желание Державина иметь прочное служебное положение, но он стал одним из ближайших лиц к Екатерине, ее личным секретарем.

«Будучи поэт по вдохновению, я должен был говорить правду; политик или царедворец по служению моему при дворе, я принужден был закрывать истину иносказанием и намеками, из чего само по себе вышло, что в некоторых моих произведениях и поныне многие что читают, того не понимают», – так исповедовался маститый поэт на склоне лет, в царствование внука Екатерины.

Следуя завету Екатерины, его сатира никогда не была бичующей. С другой стороны, Державин до конца жизни не был политиком и не приноровился к роли царедворца, несмотря на все старание к тому. Помехой становились отчасти природные, отчасти приобретенные свойства характера: заносчивость и грубоватая наивность солдата, хотя и в лучшем смысле этого слова.

В два года статс-секретарства он успел надоесть Екатерине и перессориться с друзьями и покровителями: с Дашковой, Безбородко и другими. Он не щадит их и в «Записках» своих, выдавая при этом только свою неправоту.

Не любовь к правде, но недостаток чувства такта и меры

вызвали скоро охлаждение к нему Екатерины. «Он со всяким вздором ко мне лезет», – жаловалась она вскоре после его назначения. Как по своему делу с Гудовичем, так теперь по каждому порученному ему делу он являлся с кипой документов; «целая шеренга гайдуков и лакеев вносила за ним в кабинет государыни превеликие кипы бумаги». Можно ли удивляться, если Екатерина иногда отсылала его, теряя терпение, и однажды, в скверную погоду, велела сказать ему: «Удивляюсь, как такая стужа вам гортани не захватит».

«Часто случалось, – говорит он, – что она рассердится и выгонит его от себя, а он надуется, дает себе слово быть осторожным, ничего с ней не говорить; но на другой день, когда он войдет, она тотчас приметит, что он сердит: зачнет спрашивать о жене, о домашнем его быту, не хочет ли он пить и тому подобное ласковое и милостивое, так что он позабудет всю свою досаду и сделается по-прежнему чистосердечным. Однажды случилось, что он, не вытерпев, вскочил со стула и в исступлении сказал: „Боже мой! кто может устоять против этой женщины? Государыня, – Вы не человек. Я сегодня наложил на себя клятву ничего с Вами не говорить; но Вы, против воли моей, делаете со мной, что хотите“. Она засмеялась и сказала: „неужто это правда?“ В различных вариантах, однако согласно, современники утверждают, что Державин при докладах бранился, а однажды схватил государыню за платье, причем она позвала из соседней комнаты Попова и сказала ему: „Побудь здесь, Василий Степанович, а то этот господин много дает воли рукам своим“. Он сам не отрицает, что, несмотря на запальчивость его, Екатерина, поссорясь, на другой день принимала его милостиво, извинялась, говоря: „Ты и сам горяч, все споришь со мной“. Так было, когда по делу о банкротстве Сутерланда Державин докладывал о громадных долгах вельмож придворному банкиру. Потемкин взял 800 тысяч. Екатерина приказала принять на счет казначейства, извиняя его тем, что „многие надобности имел по службе и нередко издерживал свои деньги“ (!). Когда же дошло до великого князя Павла Петровича, которого Екатерина, как известно, не любила, и она стала жаловаться, говоря: „Не знаю, что с ним делать?“, то Державин, к чести его, если только он верно передает событие, молчал и на повторенный вопрос ответил, что наследника с императрицей судить не может. Она вспыхнула и закричала: „Поди вон!“ Державин вышел и прибег к защите Зубова. Екатерина на другой день выслушала доклад до конца, дала резолюцию, и тем дело кончилось.

Охлаждение, однако, было неизбежно. Разбалованная всесветным поклонением, Екатерина, конечно, ожидала от своего

секретаря новых посвященных ей поэм, а лира Державина заупрямилась. Он говорит, что императрица сама побуждала его писать в этом роде; он же, с одной стороны, предался слишком горячо делам, а с другой, видя несправедливости, не имел охоты, а если писал, то с примесью нравоучения. Несколько раз он все же принимался, запираясь дома, но ничего не мог написать, «не быв возбужден каким-либо патриотическим, славным подвигом». Странным образом противоречит последнему надпись к портрету Екатерины в 1791 году:

Вселенну Слава пролетая,
Велит решать вопрос векам:
«По имени она вторая,
Но кто же первый по делам?»

Разгадка лежит отчасти в личном неудовольствии поэта.

Доклады его случались все реже и реже. Через руки его проходили дела о неважных предметах, доклады более серьезные поручались другим секретарям, тогда как он с назначением своим думал соединить первую роль и руководить даже Сенатом.

Наконец косвенным путем Державин устроил так, что императрице было предложено ходатайство о пожаловании ему Владимира второго класса; но безуспешно: «Он должен быть доволен мною, что из-под суда взят в секретари, – отвечала Екатерина, – а орден без заслуг не дается». Зная характер Державина, трудно было ожидать от него после этого хвалебных произведений, тем более что Владимир второго класса составлял его заветную мечту и он считал себя обойденным, не получив желаемой награды за губернаторство в Тамбове.

Решено было наконец пожаловать Державина в сенаторы с определением на его место в секретари Трощинского. Указ состоялся во время празднования Ясского мира, причем пожалован ему и давно желанный орден. После того он еще несколько раз докладывал императрице, но только по делам, которых не успел кончить.

Хотя Державин и не совсем был доволен новым званием, он просил Зубова выразить императрице благодарность за назначение. Екатерина не прочь была ограничить сферу ведения Сената, предоставляя себе решение дел, и с этою целью звание сенатора давалось часто незначительным лицам. Здесь источник слов Державина в оде «Вельможа»:

Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами:

Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами.

Поэт решил заставить уважать себя в этом звании сенатора, заставить себя слушать, и свое усердие простер до того, что в самые праздники ездил в Сенат, прочитывал бумаги, делал на них замечания и пр., во всевозможной форме выказывая «правдолюбие» и неугомонную ретивость. Вскоре благодаря Зубову он получил еще должность президента коммерц-коллегии. Она, как и прочие коллегии, была накануне уничтожения, и пост удовлетворял не столько честолюбию, сколько материальному обеспечению. Державин и здесь не стерпел, вошел в роль сановника и вызвал скоро Высочайшее повеление: «в дела петербургской таможни не мешаться».

Огорченный неудачами поэт решился подать просьбу об увольнении на два года, не без мысли, однако, «наказать» императрицу своим удалением от дел. Екатерина ответила, что «отставить его немудрено, однако прежде пусть кончит новый тариф, а падение его оттого, что начал присваивать себе власть, не ему принадлежащую».

Неудовольствие поэта скоро должно было замолкнуть.

В январе 1793 года пришло известие из Парижа о казни Людовика XVI. Весть произвела сильное впечатление. Екатерина слегла в постель, была больна и печальна. Державин отозвался одой «Колесница». Франция – «вертеп убийства преужасна», он зрит на ней руку разгневанных небес. Обращаясь к ней, он говорит:

От философов просвещенья,
От липшей царской доброты
Ты пала в хаос развращенья
И в бездну вечной срамоты. (!)

Любопытно примечание его к оде:

«Не было бы удивительно, если бы несчастие французов произошло от софистов или суемудрых писателей, а также от поступков злобного государя; но когда народ был просвещен истинным просвещеньем и правительство было кроткое (!), то загадка сия принадлежит к разрешению глубокомысленных политиков».

По случаю назначения Румянцева главнокомандующим в действиях против Польши Державин, прибегая к одному из обычных приемов, переделывает одно из своих старых

стихотворений в новое. Так явилась ода «*Вельможа*». В ней есть типичные черты быта и лиц екатерининского века, но уже Белинский заметил, что даже все сочинения Державина, вместе взятые, далеко не выражают в такой полноте и так рельефно русский XVIII век, как превосходное стихотворение Пушкина «К вельможе», этот портрет вельможи старого времени – дивная реставрация по руинам первоначального вида здания.

В конце царствования Екатерины поэт едва не подвергся действительным неприятностям за оду «Властителям и судиям», включенную им в тетрадь стихотворений, поднесенную государыне в 1795 году. Это переложение псалма Давида. Стихотворение напоминает земным владыкам о правде, но в то же время велит народам почитать их избранным от Бога и повиноваться. Однако слова: «неправда потрясает троны» и некоторые другие позволили врагам Державина внушить Екатерине, напуганной террором, что тот же самый псалом был переложен якобинцами и пет на парижских улицах. Екатерина стала выказывать к поэту холодность. Шепотом говорили, что велено даже допросить его; в то время уже действовала снова Тайная канцелярия со всем арсеналом и с Шешковским во главе. К счастью, Державин узнал обо всем вовремя. На обеде у графа А.И. Мусина-Пушкина один из гостей спросил его:

– Что ты, братец, пишешь за якобинские стихи?

– Царь Давид, – сказал Державин, – не был якобинцем.

Вслед за тем он написал записку под названием «Анекдот» и распространил при дворе. Здесь он рассказал легенду об Александре Македонском и его враче, применив ее к себе и Екатерине. Записка дошла до императрицы, произвела хорошее действие и спасла поэта.

Любопытно, что ода написана была давно, переделывалась несколько раз и, направленная сначала против некоторых лиц под влиянием личного неудовольствия, приняла в конце концов общий характер. Последняя строфа несомненно заключала в себе отголосок пугачевщины: знатные не внемлют… Грабежи, коварства, мучительства и бедных стон смущают, потрясают царства и в гибель повергают трон.

Приближение к Екатерине упрочило и славу поэта. В 1792 году был напечатан немецкий перевод «Видение Мурзы» придворного ученого и воспитателя Шторха. Ни один из живущих в то время поэтов не имел, по его мнению, столько шансов на бессмертие, как Державин.

Со своей стороны Державин не оставался в долгу перед отличавшими его и, громя пороки знатных анонимов, аккомпанировал концу екатерининского века, кладя на струны

своей лиры имена Суворова, Зубова, Нарышкина, Орлова и других.

Лирическое творчество его при Екатерине завершилось написанием «*Памятника*». Искусно переделав оду Горация, поэт признал здесь свое значение и удачно определил черты своей поэзии. Оригинальность формы уничтожает упрек в подражательности:

Всяк будет помнить то в народах неисчетных,
Как из безвестности я тем известен стал,
Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить…

Поэзия Державина, говорит Шевырев, это сама Россия екатерининского века, с чувством исполинского своего могущества, со своим торжеством и замыслами на Востоке, с европейскими нововведениями и с остатками старых предрассудков и поверий; это Россия пышная, роскошная, великолепная, убранная в азиатские жемчуга и камни, и еще полудикая, полуварварская, полуграмотная. Такова поэзия Державина во всех ее красотах и недостатках.

Обращаясь к Екатерине, поэт сказал сам о своей музе:
Под именем твоим громка она пребудет,
Ты *славою,* твоим я эхом буду жить.
В могиле буду я, но буду говорить…

Пророчество это осуществилось. Поэзия Державина в лучших ее проявлениях есть отражение царствования Екатерины и памятник ему.

Глава V
Служебная и литературная деятельность в царствование Павла и Александра I

«В продолжение восьми часов царствования вступившего на престол всероссийского самодержца (Павла) весь порядок правления, судопроизводство, словом, все пружины государственной машины вывернуты, столкнуты, все опрокинуто вверх дном и оставалось в этом положении четыре года. Одним росчерком пера уничтожено 230 городов! Места государственных сановников вверены людям безграмотным… они, кроме Гатчино и казарм там, в которых жили, ничего не видели, с утра до вечера маршировали, слушали бой барабана и свист дудки! Бывшему у генерал-аншефа Апраксина в услуге лакею Клейн-Михелю повелено обучать военной тактике фельдмаршалов. Да, шесть или семь находившихся в Петербурге фельдмаршалов сидели около стола, вверху которого председательствовал бывший лакей и исковерканным русским языком преподавал так называемую тактику военного искусства воинам, в бою поседевшим». Екатерининских фаворитов постигла опала; напротив, курьеры поскакали в дальние углы возвращать ее опальных и привозили их во дворец иногда полуживыми вкусить милости нового царя. Державин не пострадал; наоборот, Павел обласкал его и велел быть в своем совете. Состав членов этого высшего совещательного собрания, учрежденного Екатериной, теперь переменился. Неугомонный поэт назначение «правителем дел» совета понял в том смысле, что он должен быть в нем первым лицом и руководить решениями. Возбудив этим неудовольствие и несогласие членов, он стал допытываться у императора, что ему делать, стоять или сидеть, и чем быть, и просил инструкции. Павел отвечал: «Хорошо, предоставьте мне»; Державин, не смущаясь этим, продолжал настаивать, пока вспыльчивый и страшный в гневе Павел не позвал людей и, ругая Державина, не крикнул ему: «Поди назад в Сенат и сиди у меня там смирно, а не то я тебя проучу!» Несколько дней спустя последовал любопытный указ Сенату: «Тайный советник Гавриил Романович Державин, определенный правителем канцелярии нашей, за непристойный ответ, им пред нами учиненный, отсылается к прежнему его месту».

В обществе ходили разные слухи о падении Державина;

родные его печалились, но сам он не пал духом и прибег к своему оружию, решив «вернуть благоволение монарха посредством своего таланта». Ту же службу, что некогда «Изображение Фелицы», сослужила ему теперь ода на 1797 год – хвалебная песнь на восшествие Павла на престол. «Правда, что побуждения к написанию ее, *даже и с тогдашней точки зрения*, одобрить нельзя, – замечает Я.К. Грот. – Впоследствии Державин сам почувствовал несообразность этой оды с дальнейшим ходом дел: он не решился включить ее в московское издание своих сочинений, и ода, хотя уже набранная в конце тома, не появилась в нем». Поэт достиг цели. Государь принял его милостиво и разрешил пускать в дворцовую залу, куда вход был ему запрещен в это время.

До конца царствования Павла Державин оставался в милости: получал различные поручения, дела по опекам и третейским судам, командировки и прочее, но государь отклонил его личные доклады. «Он горяч, да и я; так мы, пожалуй, опять поссоримся, пусть лучше доклады идут через тебя», – говорил он генерал-прокурору Обольянинову. Вслед за командировкой в Белоруссию, где свирепствовал тогда голод, Державин получил должность президента коммерц-коллегии, а затем, обойдя как-то приятеля своего Васильева, назначен был на его место государственным казначеем. В «Записках» своих он хвалится, впрочем, тем, что спас Васильева, дав ему время скрыть грехи своего управления финансами. Дело, однако, возникло, враги Васильева старались его погубить в угоду любимцу Павла Кутайсову; за него вступился горячо наследник престола. Державин, как сам сознается, «балансировал на ту и другую сторону». Дело было накануне воцарения Александра, и в самый день вступления его на престол особым указом повелено Васильеву вступить во все прежние его должности, а Державину «остаться в Сенате». Так окончилась деятельность его в недолгое царствование Павла.

Не оставляя лиру, Державин продолжал вести как бы поэтическую хронику важнейших современных событий, политических и придворных.

В пьесе «Развалины» откликнулся он, хотя и много времени спустя, на кончину Екатерины; запустение любимого ею Царского Села, военные экзерциции на лужайке, где некогда кипели «шумные забавы» и беседовали философы, – все наводило на печальные размышления и будило воспоминания. В царствование Павла умерли И.И. Шувалов, Румянцев-Задунайский, Л.А. Нарышкин, Безбородко и Суворов. Последний успел еще совершить переход через Альпийские горы и другие подвиги, воспетые Державиным, но в начале царствования был в опале,

жил сосланный в своей деревне, и Державин сказал:

Петь Румянцева сбирался,
Петь Суворова хотел,
Но завистливой судьбою
Задунайский кончил век,
А Рымникский скрылся тьмою,
Как *неславный*человек.

Поэт утешал себя тем, что бессмертные дела их не забудет мир, ему же остается

Переладить струны вновь.
Петь откажемся героев,
А начнем мы петь любовь.

Таким образом родились многочисленные стихотворения в анакреонтическом роде, подражания классикам и послания.

Со времени революции ненависть и презрение к французам стали модной темой, и Державин не раз к ней обращается.

8 февраля 1793 года Екатерина подписала указ Сенату о разрыве дипломатических сношений с Францией и высылке из России всех французов, которые не примут присяги по прилагаемому к указу образцу. Этот шаг привел к открытой войне при наследнике Екатерины. Державин явился первым выразителем политики России как *умиротворительницы*Европы. Когда после казни короля брат его, граф Д'Артуа, приехал искать убежища в Петербург, в присутствии его и Екатерины совершена была панихида с музыкой Сарти; Державин написал оду «На панихиду»:

Греми, о муза! и искусством
Подвигни к жалости сердца,
Наполнь одним Европу чувством
К отмщенью царского венца.

Тогда же явились и подражания: «Чувства и размышления *на случай* убиения Марии-Антуанеты», «Дух гражданина и верного подданного, на старости злодеяниями французских бунтовщиков возмятенный и возбужденный». Ни длина, ни качество этих названий нас теперь не удивят – они в духе века. Революция называлась бунтом и объяснялась просто, как и Державиным в

«Колеснице»: тем, что возница ослабил вожжи. Воюет Росс за обще благо, говорит Державин в оде «На переход Альпийских гор», поясняя в «Записках», что русские не имели никакой причины к войне, но вступились за угнетенную Европу; напротив, французы *начали революцию* и сражались не за общее благо отечества, но для корыстных видов и т. п. Это длиннейшее стихотворение заключает в себе все, что угодно: политику, сатиру, богословие – только не поэзию. Оно смело может быть отнесено к числу многих других произведений Державина, о которых Белинский сказал: «читать их тяжело. Это все равно, что читать арифметику, написанную стихами; читатель согласен, что дважды два – четыре, но он тем не менее в отчаяньи, что такие азбучные истины не изложены прозой, без поэтических затей…» Словом, это «диссертация в стихах». В разных выражениях обращается Державин к Суворову с одной и той же мыслью: «Гряди, Алкид, на гидру дерзку», «Гряди спасать царей, Суворов». Последние слова, впрочем, приписывают Павлу. В собственноручном письме опальному Суворову государь призывал его стать во главе кампании. Явясь к нему, Суворов пал на колени и сказал словами псалма: «Господи, спаси царя». Государь ответил: «Ты иди спасать царей». Необходимость борьбы с влиянием революции стала причиной учреждения Павлом в России капитула Мальтийского ордена. Этот орден соединял в себе многих старинных дворян-эмигрантов и оставался представителем старинных привилегий. Павел принял титул Великого магистра, учредил новый орден Св. Иоанна Иерусалимского, возложил его даже на великих княжен и некоторых придворных дам и посвятил «в рыцари» своих сыновей – Александра и Константина. Все это, удовлетворяя еще в детстве проявившейся склонности Павла ко всему романтическому (несмотря на видимое противоречие с его поступками вообще), происходило при торжественной обстановке и, разумеется, воспето Державиным в оде «На Мальтийский орден». И здесь, кроме описания роскошной церемонии, прославления Павла и победы русского флота в Средиземном море, не пропустил он случая бичевать французов:

Безверья гидра проявилась,
Родил ее, взлелеял галл.

Затем картина всеобщего разрушенья заключается словами:

Европа вся полна разбоев,
Цареубийц святят в героев,

Ты, *Павел, будь спаситель ей…*
……
Так чьи ж поддержат небо плечи?
Один бессмертный, твердый Росс.

Автор думал, поясняет он сам, что «*некому привесть французов на истинный разум*, как одним русским…»

С воцарением Александра политика переменилась, были моменты большой дружбы с Наполеоном, но Державин своего настроения в этом отношении не менял до конца жизни.

Благодаря стихам Державин поддерживал благоволение Павла, получил от него табакерку и орден; последний при странной обстановке, по рассказу самого поэта. Он позван был в императорский кабинет; Павел набросил на него ленту и, произнеся какие-то невнятные звуки, в ту же минуту скрылся.

В царствование Павла Державин избрал себе девиз: «Так вышней силой я держусь». Девиз этот на его печати утвержден был государем.

Умолк рев Норда сиповатый,
Закрылся грозный, страшный взгляд.

Напрасно уверял Державин, что слова эти относятся просто ко времени года, когда воцарился Александр. В обществе понимали стихи иносказательно… Ода на восшествие начиналась словами:

Век новый! Царь младой, прекрасный
Пришел к нам днесь весны стезей.
В облаках является Екатерина и говорит:
Се небо ныне посылает
Вам внука моего в цари…

В следующих строках поэт ставит обществу в вину, что оно не осуществило ее мысли, не возвело сейчас же после ее кончины на престол внука. «Вы сами от себя терпели», – говорит Екатерина в державинских стихах.

Александр пожаловал Державину за эту оду брильянтовый перстень стоимостью пять тысяч рублей, однако не разрешил ее печатать. Вслед за тем оды стали являться, как грибы; в числе авторов Херасков, Измайлов, Карамзин, Мерзляков, Озеров и многие другие, старые и молодые.

Несмотря на свои прогрессивные стремления и планы, Александр в первое время приблизил к себе старых сановников, сподвижников Екатерины, опасаясь напугать общество скорыми переменами и новизной политики. В числе прочих и Державин, хотя и устраненный от финансов, но оставленный в Сенате, продолжал пользоваться большим почетом как поэт и сановник.

В стихотворении «К самому себе» поэт недавно только выражал недовольство бесплодностью своей деятельности в борьбе за правду с криводушием и решал, – если он бесполезен тем, «что горяч и в правде чорт», – бросить все и обратиться к музам и любви (к Эроту):

Стану ныне с ним водиться,
Сладко есть и пить, и спать,
Лучше, лучше мне лениться,
Чем злодеев наживать.

Но эта наивная исповедь была неискренна. Честолюбие с годами становилось только упорнее и капризнее. Он продолжал ссориться в Сенате, все еще надеясь занять в нем первенствующее место, и настойчивость привела его к цели. С учреждением министерств Александр не решился во главе их поставить своих молодых любимцев, кроме Кочубея; Строганов, Чарторыйский и Новосильцев назначены были *товарищами*, а министрами – граф А.Р. Воронцов, Завадовский и другие, в том числе Державин министром юстиции. С этим соединялось и звание генерал-прокурора Сената.

Упорство Державина во всем, что исходило от него, неуважение к мнению других и характер его действий скоро восстановили против него весь Сенат и министров. Он одинаково не ладил как с молодыми, так и со старыми, с которыми, казалось бы, его соединяли тесные связи былого. Члены-сенаторы стали входить с докладами против него к государю, пользуясь притом несогласием мнений самого царя с Державиным, и наконец жаловались на генерал-прокурора, «оскорблявшего Сенат языком своим».

Преобразованием Сената и учреждением министерств Александр имел в виду удовлетворить современным требованиям правительственной организации, как ее понимали на Западе. Не менее того занимал царя вопрос об устройстве или освобождении крестьян. Державин был ярым противником этой мысли. Меры, принятые в этом направлении, были одобрены в государственном совете единогласно; только Державин остался при особом мнении:

«Хотя, – писал он, – по древним законам права владельцев на рабство крестьян нет, но политические виды, укрепив крестьян земле, тем самым ввели рабство в обычай. Обычай сей, утвержденный временем, сделался столь священным, что *прикоснуться* к нему без вредных последствий велика потребна осторожность».

Автора этих строк можно угадать отчасти по описанию крестьянской идиллии в оде «Осень во время осады Очакова», где Державин говорит:

Запасшися крестьянин хлебом,
Ест добры щи и пиво пьет,
Обогащенный щедрым небом,
Блаженство дней своих поет.

Подлинно – лишнее было освобождать таких счастливцев. Но ввиду опасности положения Державин настроил снова лиру на крепостной лад и в *анакреонтической* оде «Голубка» старался еще раз убедить читателя в преимуществах для народа помещичьей власти.

Конечно, Державин выражал мнение далеко не только свое, но большинства современных ему «передовых» людей. И человеколюбивый масон Лопухин, и высокоумная княгиня Дашкова во главе легионов находили опасность в «расслаблении связей». Первый доказывал, что «для охранения благоустройства общего нет надежнее полиции, как помещики». Это было, по крайней мере, откровенно и ясно. Княгиня же ссылалась на то, что благосостояние крестьянства выгодно для дворян, а вследствие того, по ее мнению, надо было быть безумным, чтобы притеснять крепостных. Логика, как известно, на практике не выдерживала критики, и помещики нередко душили своих кормильцев в более или менее дружеских объятиях. Многие пугали и тем, что мысль об освобождении уже носилась в народе, и каждый шаг в этом направлении может родить превратные толки, помещики усмотрят угрозу их собственности, и крестьяне возмечтают о неограниченной свободе. На основании подобных соображений и Державин был одним из крайних противников поступательного движения. В конце концов последовал, однако, указ о свободных хлебопашцах – и призраки рассеялись.

Не только в крестьянском вопросе, но и во всех замыслах Александра Державин являлся тормозом, вечно видел кругом, в лучших людях, его окружавших, какие-то польско-еврейские интриги, всех министров также подозревал в интригах то против Александра, то против себя как единственного правдолюбивого

охранителя. Эту роль он брал на себя до такой степени назойливо, что государю очень трудно было сохранить хладнокровие и не обидеть старика. В конце концов, однако, согласие стало невозможно, и Державин должен был сойти со сцены. Увольнение его было решено. В октябре 1803 года он приехал во дворец с докладом, но государь не принял его, а на другой день послал рескрипт, в котором просил оставить пост министра, продолжая присутствовать в Сенате и совете.

Затем на аудиенции государь заметил ему, что он слишком ревностно служит. Оскорбленный поэт просил отставки и получил ее с позволением носить сенаторский мундир, с сохранением жалованья и шести тысяч столовых ежегодно.

Интриги польской партии были, конечно, ни при чем: против Державина были все сенаторы и министры, в том числе Завадовский, Воронцов, Трошинский – враги этой партии.

Княгиня Дашкова, некогда друг и покровитель поэта, пишет в 1802 году Воронцову (брату своему): «Здесь (в Москве) очень смеются над нападками, с которыми Державин выступил против сенаторов и министров своими лживыми докладами».

Граф Растопчин, поддерживавший отличные отношения с Державиным, писал о нем в то же время шутливо: «Мне рассказывали очень смешное про Державина, что он бранит просителей за дурной слог их прошений и вместо ответа по делу доказывает им ошибки против грамматики ».

После отставки эпиграммы, стихи и пасквили посыпались на Державина. По поводу одного такого стиха Растопчин замечает о поэте: «про него можно сказать, что он утром ругает и кричит, вечером же гнется и молчит».

Конечно, в личных отзывах может сказаться недоброжелательство. Но Державин в своих «Записках» еще строже, не щадит ни старых друзей, ни покровителей, явно пристрастен к лицам, нетерпим, взводит обвинения на всех и каждого, обо всех деятелях эпохи отзывается дурно: с одной стороны, изливает желчь на новаторов Кочубея и Сперанского, с другой – не щадит и приверженцев старины и вообще выказывает вражду ко всей эпохе.

В царствование Павла литераторы и поэты попрятались в Москву и старались поменьше о себе заявлять. С вступлением на престол Александра ожили литература и театр. «Рассуждение о старом и новом слоге» Шишкова было началом войны с Карамзиным и разделило писательский мир на партии, вызвав особую литературу.

Сохраняя близкие отношения к царской семье, Державин не оставлял «придворную поэзию». В других стихотворениях излагал

он мысли о своих заслугах и неудачах или обращался к врагам по направлению, к новым сотрудникам Александра. Эти лица доставляли пищу его басням. Все басни, написанные им в это царствование, имеют сатирический характер, но малое художественное значение. «Аист» представляет Аракчеева. «Жмурки» написаны на триумвират Кочубея, Новосильцева и графа П.А. Строганова возле государя. «Выбор министра» посвящается Сперанскому.

Влияние иностранных образцов проявлялось в различных направлениях творчества Державина. Влияние Клопштока сказалось в обращении к германской мифологии. В «Водопаде» заимствованы черты скандинавской поэзии. Но наиболее полюбился Державину Анакреонт. «Беседовал с Анакреоном в недавнем я приятном сне», – говорит поэт. «Анакреонтические» традиции особенно отвечали придворной поэзии и стихотворениям «на случай».

Во время войн Наполеона Державин по-прежнему отзывался на это движение громкими одами вроде «На отправление в армию гр. Каменского», «На выступление корпуса армии» и т. п. и продолжал свою поэтическую хронику вплоть до самого 12-го года, когда у нашего поэта явился совсем новый соперник с его «Певцом во стане русских воинов».

В среде современников Державина находились критики, постигшие уже тогда слабые стороны его таланта; тем не менее имя его окружено было ореолом славы. Озеров, посылая ему свою драму «Эдип в Афинах», писал:

«Посвящая вам сию трагедию, я приношу мой дар не тем достоинствам, кои возвели вас на высокие степени в государстве. Пусть беспристрастное потомство судит ваши подвиги на службе отечеству; автор „Эдипа“ желал только принести дань удивления и восторга тому великому гению, который явил себя единственным соперником Ломоносова и с воинственным парением Пиндара умел соединить философию Горация и прелестную игривость Анакреона, который своим пером, смелым и животворным, представил природу в красотах ее и ужасе и царицу Киргиз-Кайсацкой орды изобразил кистью Рафаэля. Вдохновенным песням вашей музы, величественным, как стройное течение вселенной, пленительным, как светлый ключ Гребеневский, быстрым, блистательным, как водопад Суры, поучительным, как смерть (?), и бессмертным, как герои, предметы хвалы вашей, я обязан живейшими наслаждениями в жизни, и может быть сиянию вашей славы буду обязан я спасением труда моего от мрака забвения. Для меня и то уже послужит достоинством в потомстве, когда скажут, что автор

„Эдипа“ умел почитать гений Державина».

В этой риторике отражаются, однако, характерные для того времени взгляды на общество и литературу и приемы, используемые в последней современниками Державина. Письмо это останется своего рода памятником эпохи и иллюстрацией к произведениям поэта.

Не довольствуясь выпавшим на его долю успехом, прославленный лирик принялся «творить» для сцены. Но, увы, как ни бедна была в то время драматическая литература на Руси, Державин только оправдал нравоученье басни Крылова: «беда, коль пироги и т. д.». Уже Мерзляков называл его сочинения этого рода «развалинами Державина». Между тем поэт оказался и тут весьма производительным, хотя единственная пьеса его, игранная на петербургской сцене, была «Ирод и Мариамна». Зато он свободно ставил свои произведения в зале своего же домашнего театра. Питая большую слабость к этим детищам своим, он заставлял читать их себе вслух своих юных поклонников – Панаева, Жихарева, Аксакова. Свидетели эти утверждают, что поэту и в стихах его нравились как раз слабые места, а красот он сам не замечал.

По смерти Н.А. Львова Державин, подобно Оленину, становится центром литературного кружка. По инициативе Шишкова в доме поэта стали устраиваться вечера с целью дать выдвинуться молодым талантам. Вскоре оказалось, что всему молодому и свежему здесь душно и тесно и вечера служат только самоуслаждению стариков. Таким образом возникла «Беседа», главной заслугой которой в истории нашего общественного развития осталось то, что она привела к появлению, в виде оппозиции архаизму ее, нового кружка – знаменитого «Арзамаса».

На вечерах «Беседы» публика бывала знатная, как и подобало сановникам-учредителям. Здесь, впрочем, в первый раз читал свой перевод «Илиады» Гнедич и часто присутствовал лукавый баснописец Крылов, осмеявший собрание с его организацией в «Квартете». Гнедич читал с пафосом и так напрягал голос, что надо было бояться за грудь его. «Еще несколько таких вечеров, – говорит Жихарев, – и он, того и гляди, начитает себе чахотку».

Каковы были отношения в литературном мире, показывает ответ Державину на приглашение в члены «Беседы» автора комедий Ильина: «членом ли сотрудником быть мне в „Беседе“, или иным чем? лишь бы только согласно с волею вашего высокопревосходительства; я все то вменяю себе в особливую честь».

Члены «Беседы» не знали даже о новых талантах и удивились, когда Жихарев прочел им «Сельское кладбище» в переводе

Жуковского, тогда как они знали эту элегию только в *позднейшем* переводе Кутузова. Одного Дмитриева почитали, «да и то разве потому, что он сенатор», а Карамзина признавал лишь Державин.

С переселением в Петербург Жуковского друзья сгруппировались возле него, и образовался кружок «Арзамас». Здесь были Блудов, Дашков и Уваров, сюда перешли и молодые люди из «Беседы», и здесь же появился Пушкин. «Арзамас» существовал недолго, но успел победить «Беседу».

Под влиянием нового в русской литературе поэтического направления, образцы которого дал Жуковский, старик Державин также пробовал перейти в своем творчестве в область героической и сказочной русской древности. В 1812 году он написал род баллады: «Царь-девица», изобразив в ней, впрочем, черты характера и образ жизни императрицы Елизаветы Петровны. Пьесу эту назвал он романсом.

Царь жила-была девица,
Шепчет русска старина,
Будто солнце светлолица,
Будто тихая весна.
Очи светло-голубыя,
Брови черныя дугой.
Огнь – уста, власы – златые,
Грудь – как лебедь белизной и т. п.

В 1794 году Державин потерял свою Плениру, а полгода спустя женился вторично, уже не по любви, но по рассудку. Вторая жена его, Дарья Алексеевна Дьякова, была невесткой друзей его Львова и Капниста и утвердила эти дружеские связи. Она училась немногому, но получила светское воспитание, имела талант к музыке и играла на арфе. К тому же была прекрасной хозяйкой и умела вести дом.

Старики большую часть времени проводили в имении Званка. В стихотворении «Жизнь Званская» поэт описал жизнь эту до мельчайших подробностей. Быт и хозяйство Званки были устроены на широкую ногу; дом и сад часто оглашались веселым говором съезжавшихся гостей, громом домашней музыки и даже пушек.

О последних днях жизни Державина в Званке летом 1816 года любопытные подробности сохранились в дневнике племянницы его Львовой. Особенно подробно было сделано ею описание болезни, смерти и похорон поэта.

Державин не раз при жизни писал «эпитафии самому себе». Одна из них гласит: «Здесь лежит Державин, который

поддерживал правосудие, но, подавленный неправдою, пал, защищая законы». Ему хотелось остаться непременно страдальцем в памяти потомства, хотя при жизни, защищая законы, он если и падал, то «вставал здорово», по выражению Фамусова.

Друзья мои, хор муз не пой!
Супруга облекись терпеньем,
Над мнимым мертвецом не вой.

Гораздо искреннее его «Признание», отмеченное им как объяснение на все его сочинения. По крайней мере, Державин думал здесь быть искренним, но, как в произведениях своих, так и в характере, он не знал своих слабых сторон.

Потомство достаточно успело изучить и оценить его характер и значение. «Язык, образ мыслей, чувства, интересы – все в нем, все чуждо нашему времени. Но не умер Державин так же, как не умер век, им прославленный; век Екатерины приготовил век Александра, приготовивший наш век; между Державиным и поэтами нашего времени существует та же кровнородственная историческая связь, которая существует и между этими тремя эпохами русской истории…», – так писал Белинский *в свое время*, но «кровнородственная» связь может ли исчезнуть, может ли не проявиться хотя бы и в более отдаленном потомстве? Историческую связь нашу с прошлым Державин сам верно определил в «Приношении монархине», в начале рукописи, хранящейся в Публичной библиотеке:

Забудется во мне последний род Багрима,
Мой вросший в землю дом никто не посетит,
Но лира коль моя в пыли где будет зрима,
И древних струн ея где голос прозвенит,
Под именем твоим она громка пребудет,
Ты *слабою,* твоим я *эхом* буду жить.
Героев и певцов вселенна не забудет,
В могиле буду я, но буду говорить.

ИСТОЧНИКИ

Полное собрание сочинений Державина. Издание Академии наук под редакцией *Я. Грота.*

8-й том того же издания: Биография Державина, составленная

академиком *Я. К. Тротом.*

Девять томов свыше тысячи страниц каждый заключают в себе громадный и ценный материал для биографии и характеристики поэта и гражданина.

В этом издании можно найти указания на все источники. Со времени его появления, по справкам, наведенным составителем предлагаемого очерка, ничего ценного по отношению к личности Державина в литературе вновь не явилось. Труды по истории минувшего, начала нынешнего веков и мемуары указаны отчасти в очерках о Крылове и Фонвизине, отчасти в других очерках издания «Жизнь замечательных людей».

notes

Примечания

1

Кошт – иждивение, содержание, расход, издержка (Словарь В. Даля). Здесь и далее звездочкой со скобкой обозначены примечания автора, а простой звездочкой – примечания редакторов данного переиздания.

2

«Беседа любителей русского слова» – литературное общество в Петербурге в 1811–1816 годах во главе с Г.Р. Державиным и А.С. Шишковым.

З

Тайная продажа спиртных напитков, караемая законом *(устар.)*.

4

Еженедельный журнал, издавался в Петербурге Н.И. Новиковым с мая 1769 по апрель 1770 года.

5

Тычина – всякий прут и хворостина, колышек, лучина, воткнутая в землю (*Словарь В. Даля*).

6

«Слово и дело государево» – система политического сыска в России конца XVI–XVIII веков. Каждый российский подданный под страхом смерти был обязан донести об известных ему умыслах против царя или членов его семьи, оскорблении царского имени и титула, государственной измене. При этом произносилось условное выражение: «Слово и дело государево!» или «Слово и дело!» Доноситель и оговоренный подвергались перекрестным допросам с пытками *(Советский энциклопедический словарь)*.

7

Губернский суд в России в 1775–1862 годах.

намек на взятие Очакова зимой

9

завоевание Крыма

10

Полотнище, отрезок цельной ткани, фата, плат, платок (Словарь В. Даля).